

ГРАНИ

GRANI

83

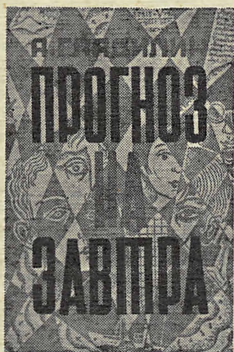
1972

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Mai 1972

А. ГЛАДИЛИН

ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА

РОМАН



Анатолий Гладили́н — популярный молодой писатель в Советском Союзе. В романе «Прогноз на завтра» Гладили́н проникает во внутренний мир человека, раздираемого противоречием между чувством ответственности перед больной женой и ребенком и любовью к другой женщине. «Обычный треугольник», — как говорит себе герой, — но почему так трудно человеку? В своем новом романе Анатолий Гладили́н, рисуя картину жизни своего героя и его семьи, дает много мелких черточек современной жизни и быта в Советском Союзе.

Рукопись получена издательством из Самиздата

Книга в твердом переплете с золотым тиснением
Суперобложка работы художника Н. Николенко. 190 стр.
Цена — 17.70 н. м. В США и Канаде — 5.90 ам. дол.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXVII

№ 83

1972 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ — Старый принц. «Когда-нибудь дош- лый историк...» «Я в путь собирался всегда налегке...» «От беды моей пустяковой...» Песня. Стихи	4
Д. Л. — Крест. Рассказ	14
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ — Государственный житель. Рассказ	35

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ-АГАТОВ — Арестантские встречи	47
ПРИЛОЖЕНИЕ: Биографии	77

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛЮДМИЛА КЛЕЙМАН — Заметки о «Раковом корпусе» А. Солженицына	79
ТЕМИРА ПАХМУСС — Замолчанное произведение Зинаиды Гиппиус	113
ЗИНАИДА ГИППИУС — Роман о мистере Уэлльсе	117

ПУБЛИЦИСТИКА

Дискуссия о Марксовой теории отчуждения

Я. ТРУШНОВИЧ — От переводчика	129
МИЛОВАН ДЖИЛАС — Отчуждение — в природе человека	132
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ — Джилас против Маркса	154
ПРИЛОЖЕНИЕ: Биографии М. Джиласа и М. Михайлова	175

ФИЛОСОФИЯ

Д. РУДНЕВ — Встреча с Розановым

183

БИБЛИОГРАФИЯ

Аркадий Столыпин. Две ценные книги о психотюрьмах. —

Ю. Трегубов. Лагерный роман

218

Памяти Б. К. ЗАЙЦЕВА

234

Список книг, поступивших в редакцию

235

Обращение редакции «Г р а н е й»

238

Обращение издательства «П о с е в»

239

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

*Не принятые к публикации рукописи
редакцией не возвращаются.*

© 1972 Copyright by Possev-Verlag,
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «П о с е в»



АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ

ОТ РЕДАКЦИИ

Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург) родился 19. 10. 1919 г. в Москве. Стихи начал писать очень рано и был замечен и отличен поэтом Э. Багрицким. Но со временем его главным увлечением стал театр. А. Галич окончил студию Станиславского. Во время войны работал во фронтовом театре. Но с 1945 г. посвятил себя целиком литературе (драматургии). В СССР поставлено десять пьес Галича, среди них: «Вас вызывает Таймыр», «Будни и праздники», «Походный марш». Лучшие его пьесы — «Матросская тишина», «Август» и «Я умею делать чудеса» — запрещены. Галич также много работал в кинематографии: по сценариям «Верные друзья», «На семи ветрах», «Государственный преступник», «Дайте жалобную книгу» и др.; совместно с французами — над «Третьей молодостью», с болгарами — над «Бегущей по волнам». Писал много песен к спектаклям и фильмам.

С начала шестидесятых годов истинным призванием А. Галича стали стихи-песни, разошедшиеся по всей стране в магнитофонных лентах и принесшие их автору всероссийскую славу и любовь слушателей. В своих стихах-песнях А. Галич очень часто выступает от имени прошедших фронт, концлагеря и тюрьмы, от имени тех так называемых простых людей, которых медленно убивают непосильные советские будни. Большую роль в нынешнем творчестве А. Галича играет элемент сатиры. В связи с его выступлениями, А. Галича вызывали в КГБ (см. свидетельство Г. Шиманова «Записки из Красного дома», «Грани» 79/71, стр. 124); в 1968 г. в Союзе советских писателей раз-

См. его произведения также в «Гр а н я х» №№ 59, 68, 70; в «Посеве» № 10/69; книгу А. Г а л и ч. Песни. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1969. — Р е д.

СТИХИ

биралось его «персональное дело», после чего Галичу фактически было запрещено выступать.

29 декабря 1971 г. А. Галич был исключен из ССП, из Союза кинематографистов и даже из Литфонда (второй случай за всю историю существования этой организации, первый — исключение А. Солженицына).

В настоящее время Александр Аркадьевич Галич — в результате травли и преследований — лежит в больнице с четвертым инфарктом. Состояние его здоровья вызывает серьезные опасения.

СТАРЫЙ ПРИНЦ

Карусель городов и гостиниц,
Запах грима и пыль париков...
Я кружу, как подбитый эсминец,
Далеко от родных берегов.

Чья-то мина сработала чисто,
И, быть может, впервые всерьёз
В деревенеющих пальцах радиста
Дребезжит безнадёжное «СОС».

Видно, старость — жестокий гостинец,
Не повесишь на гвоздь, как пальто.
Я тону, пораженный эсминец,
Но об этом не знает никто!

Где-то слушают чьи-то приказы,
И на стенах анонсов мазня,
И стоят терпеливо у кассы
Те, что всё ещё верят в меня.

Сколько было дорог и отелей,
И постелей, и мерзких простынь,
Сколько я разномастных Офелий
Навсегда отослал в монастырь!

Вот — придворные пятятся задом,
Сыпят пудру с фальшивых седин.
Вот — уходят статисты, и с залом
Остаюсь я один на один.

Я один! И пустые подмости.
Мне судьбу этой драмы решать...
И уже на галёрке подростки
Забывают на время дышать.

Задыхаясь от старческой астмы,
Я стою в перекрестье огня.
Захудалые, вялые астры
Ждут в актёрской уборной меня.

Много было их, нежных и сирых,
Знавших славу мою и позор.
Я стою и собраться не в силах,
И не слышу, что шепчет суфлёр.

Но в насмешку над немощным телом
Вдруг по коже волненья озноб.
Снова слово становится делом
И грозит потрясеньем основ.

И уже не по тексту Шекспира
(Я и помнить его не хочу), —
Гражданин полоумного мира,
Я одними губами кричу:

— РАСПАЛАСЬ
СВЯЗЬ ВРЕМЁН...

И морозец, морозец по коже,
И дрожит занесённый кулак,
И шипят возмущенные ложки:
— Он наврал, у Шекспира не так!

Но галёрка простит оговорки,
Сопричастна греху моему...
А в эсминце трещат переборки,
И волна накрывает корму.

* * *

Когда-нибудь дошлый историк
Возьмёт и напишет про нас,
И будет насмешливо горек
Его неспешный рассказ.

Напишет он с чувством и толком,
Ошибки учтёт наперёд,
И всё он расставит по полкам,
И всех по костям разберёт.

И вылезет сразу в серёдку
Та главная, наглая кость,
Как будто окурок в селёдку
Засунет упившийся гость.

Чего уж, казалось бы, проще
Отбросить её и забыть?
Но в горле застрявшие мощи
Забвенья вином не запить.

А далее кости поплоче
Пойдут по сравнению с той, —
Поплоше, но странно похожи
Бесстыдной своей наготой.

Обмылки, огрызки, обноски,
Ошмётки чужого огня:
А в сноске —

вот именно в сноске —
Помянет историк меня.

Так, значит, за эту вот строчку,
За жалкую каплю чернил,
Воздвиг я себе одиночку
И крест свой на плечи взвалил.

Так, значит, за строчку вот эту,
Что бросит мне время на чай,
Весёлому щедрому свету
Сказал я однажды: «Прощай!»

И милых до срока состарил,
И с песней шагнул за предел,
И любящих плакать заставил,
И слышать их плач не хотел.

Но будут мои подголоски
Звенеть и до Судного дня,
И даже неважно, что в сноске
Историк не вспомнит меня!

15 января 1972 года

* * *

Я в путь собирался всегда налегке,
Без долгих прощальных торжеств,
И маршальский жезл не таскал в рюкзаке.
На кой он мне, маршальский жезл!

Я был рядовым и умру рядовым.
Всей щедрой земли рядовой,
Что светом дарила меня даровым,
Поила водой даровой.

До старости лет молоко на губах,
До тьмы гробовой — рядовой.
А маршалы пусть обсуждают в штабах
Военный бюджет годовой.

Пускай заседают за круглым столом
Вселенской охоты псари,
А мудрость их вся заключается в том,
Что два — это меньше, чем три.

Я сам не люблю старичков-ворчунов
И всё-таки — истово рад,
Что я не изведаль бесчестья чинов
И милость сановных наград.

Земля под ногами и посох в руке
Торжественней всяких божеств,
А маршальский жезл у меня в рюкзаке --
Свирель, а не маршальский жезл.

9 марта 1972 года

* * *

От беды моей пустяковой
(Хоть не прошен и не в чести),
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

Сатанея от мелких каверз,
Пересудов и глупых ссор,
О тебе я не помнил, каюсь,
И не звал тебя до сих пор.

И, как все горожане, грешен,
Не искал я твой детский след,
Не умел замечать скворешен
И не помнил, как пахнет свет.

...Свет ложился на подоконник,
Затевал на полу возню,
Он — охальник и беззаконник —
Забирался под простыню.

Разливался, пропахший светом,
Голос дудочки в тишине...
Только я позабыл об этом
Навсегда, как казалось мне.

В жизни глупой и бестолковой,
Постоянно сбиваясь с ног,
Пенье дудочки тростниковой
Я сквозь шум различить не смог.

Но однажды, в дубовой ложе,
Я, поставленный на правёж,
Вдруг такие увидел рожи —
Пострашней карнавальных рож!

И ни волки, ни львы, ни лисы,
Ни кикимора и сова, —
Были лица — почти как лица,
И почти как слова — слова.

Всё обличье чиновной дряни
Новомодного образца
Изрыгало потоки брани
Без начала и без конца.

И тогда, как свеча в потёмки,
Вдруг из давних приплыл годов
Звук пленительный и негромкий
Тростниковых твоих ладов.

И застыли кривые рожи,
Разевая немые рты,
Словно пугала из рогожи,
Петухи у слепой черты.

И отвесив почти что дерзкий,
А скорее смешной поклон,
Я под наигрыш этот детский
Улыбнулся и вышел вон.

В жизни прежней и в жизни новой
Навсегда, до конца пути,
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

ПЕСНЯ

Телефон, нишкни, замолкни!
Говорить — охоты нет.
Мы готовимся к зимовке,
Нам прожить на той зимовке
Предстоит немало лет.

Может, десять, может, девять.
Кто подскажет наперёд?!
Что-то вроде надо делать,
А вот то и надо делать,
Что готовиться в поход.

Будем в списке ставить птички,
Проверять по многу раз;
Не забыть бы соль и спички,
Не забыть бы соль и спички,
Взять бы сахар про запас.

Мы и карту нарисуем!
Скоро в путь!
Ничего, перезимуем!
Как-нибудь перезимуем.
Как-нибудь!

Погромыхивает еле.
Отгулявшая гроза...
Мы заткнём в палатке щели,
Чтобы люди в эти щели
Не таращили глаза.

Никакого нету толка
Разбираться — чья вина?!
На зимовке очень долго,
На зимовке страшно долго
Длятся ночь и тишина.

Мы потуже стянем пояс —
Порастай беда быльём!
Наша льдина не на полюс,
Мы подальше, чем на полюс, —
В одиночество плывём!

Мы плывём и в ус не дуем.
В путь так в путь!
Ничего, перезимуем.
Как-нибудь! Перезимуем
Как-нибудь!

Годы, месяцы, недели
Держим путь на свой причал,
Но, признаться, в самом деле
Я добравшихся до цели
Почему-то не встречал.

Зажелтит заката охра,
Небо в саже и в золе
Сквозь зашторенные окна...
Строго смотрят окна в окна,
Все зимовки на земле.

И не надо переклички,
Понимаем всё и так...
Будем в списке ставить птички...
Не забыть бы соль и спички,
Сахар, мыло и табак.

Мы, ей-Богу, не горюем.
Время — в путь.
Ничего, перезимуем.
Как-нибудь перезимуем,
Как-нибудь.

Крест

Рассказ

Пищулин впрыскав входил в строение, не касаясь дымного слоя: отряженный плотниками, топил он баню-каменку.

Плотники же откапывали бревна, готовя отважный ремонт церкви, занявшей срединную возвышенность острова Птаха, ладьей вставшего у северного края Чар-озера.

Вьюжило и мело половину января; снег покрыл твердоконечными гребнями остров и лед.

Отдых кончился. На рассвете разбудили Манютина, кóнюха: закладывать и ехать в Покров, — в сельпо Птахи доставить водку, хлеб и крупу. Плотники измучены были бездельем и трезвостью; в понедельник предполагалась получка, остров готовился к ней: Пищулин сновал к озеру с ведрами, сгибаясь, лез в дымный полумрак; к обеду котел должен быть полон, часам к четырем — кипеть.

Плотники ждали Манютина; в ожидании работали споро, у подножья холма бревна укладывали комлями вверх, готовя высотный подъем. Церковь, древними строителями именованная церковью Савватия и Зосимы, парила над суетливой артелью; старое дерево бронзовело в лучах недолгого зимнего солнца.

Наверху, у основания храма, у бревен четверика, несшего двести лет кровлю и купол, с рассвета неотлучен был Гурьев, начальствующий над жизнью острова и трудом.

Рассказ «Крест» получен из России, где распространяется Самиздатом. — Р е д.

Ощупывал и оглядывал он дерево венца, насколько хватало поднятой руки, а роста был малого: с восточной стороны труха, труха с запада, труха, пыль, менять до восьмого венца, постепенно — весь четверик.

Да не падёт крест Савватия и Зосимы! Пятидневку назад лазил архитектор над потолком, видел: держат нестарые надпотолочные балки, связав стены друг с другом.

Гурьев любил: осмотрев дерево, в трещинах, лишенное ветром, влагою граней торцов и стёсов, стать — с умыслом не видеть людей и домов: воцарялся покой в душе — отмеренный строго дар жизни и трудолюбия.

Пустынный снежный откос пробивала гряда валунов; зеленовато-бурый поток их вёл взор вниз, к основанью, а дальше — кусты и тщедушные березы, на краю болота — в сверкающей белизне чернели прутья чахлых кустов. Печаль господствовала над местностью; Гурьев думал: такой непременно пейзаж, когда привозят в ссылку: ветер, снег, потуги природы одолеть запустение.

Он сходил к плотникам; хлопоты мельчили настрояние: предстоит возобновить деревянную лестницу, бывшую здесь от подножия к храму, это потом, главное до распутицы вывесить церковь, остальное приложится.

Неприятное было: вертолет привезет Лупкина, его заместителя, с ним — деньги плотникам, работа станет; с утра Манютин запряг Седого, передав артельную просьбу: съездить в Покров «за продуктами». Как не разрешить? Не разрешала — пурга.

Гурьев легко шёл по насту: ростом невелик, сухощав и юрок.

В безветрие славен мороз; в безветрие можно протопить, наконец, жилище, у стола сидеть, — сняв шубу.

В безветрие топится баня, держит долго тепло. Пищулин наполнил котел, нанашивал — холодной.

— Фоме Палычу, — приветил он Гурьева.

— Борису Николаевичу! — жал Гурьев руку плотника, широкую, не знавшую никогда рукавицы; хотелось взяться и левой рукой, двумя поздороваться.

Поговорили о бане.

— Вот ведь, Борис Николаевич... вывешивать готовиться надо бы... в понедельник... (тьфу, чёрт, получка!) во вторник подпоры подвести под восьмерик... бы...

— А что же... и подведем...

Гурьев остро глядел в лицо Пищулина: словно пехотинец, готовый подпрыгнуть и клюнуть.

— Делов-то... — прибавил, смущаясь, Пищулин.

— Вот именно. Полдня.

— Что я... сами знаете... ребята как...

Гурьев видел: лукавит. И знал: лукавит сам перед собой; двадцать лет среди них, мужиков-умельцев — и надеяться: после получки поработают. Что им? И даже оправдываясь теперь, сказал:

— Замерил, на градус от вертикали поболее... ветер силён дул...

И пошел.

— К вечеру... парок будет, Фома Палыч! — докрикнул Пищулин.

Избушка-баня полна была неясного шума, затем всплесками, визгами, словно поместились в ней птицы и звери: мужики холили плоть, и душа отзывалась восторгом.

Вода, пролитая на круглые черные камни, протекала вниз; там, в огненной глубине, взрывалась: упругой волной жар накатывался на тело: томились мышцы, дыхание уходило. Наступала пора веника: взлетал он и падал, об ударе предупреждал — острой горячеей полосою; словно спину ожигали ремнем, огонь проникал до костей и в кость, мокрый горячий веник, ложась плашмя и мягко, исцелял чуть-чуть не пришедший ожог.

Бесконечно длилось хлестанье, чтобы достигнуть предела, за которым — остановится сердце; ковшик лил

неустанно взрывчатую воду, мелькал, будто черная птица, в свете задыхающей лампы.

Тело теряло чувствительность.

Первый, пригнувшись, выскочил в низкую дверь: красный, словно с содранной кожей; накопленный зной тѣк из тела, на морозе рождая облако; многие выскочили уже, падали в снег; медлили только будущие помощники в аду: хлестались и выли.

На белом снегу, багровые и окутанные паром, будто раки, вываленные из котла, посыпанные быстро тающей пудрой, ухали мужики, наслаждаясь стихией огня и мороза, остывали; заходившее солнце из лазурного края поливало их красным расплавленным золотом.

Остынув, бросились в пекло.

За тяжелую дверью скрылись: в слепом оконце замелькали, запрыгали тени: радение шло *crescendo*.

Париться Гурьев любил, не любил же он — толкотни. Он пришел и расположился один, когда иссяк второй субботний поток — тихих островных женщин, удалых и разбойных, если случалось обпиться перцовой настойки.

Жара ему не досталось, достался покой.

Сидя на лавке, он с удовольствием вдыхал аромат распаренных березовых листьев и веток, чуть с угаром, чуть дурманящий.

Казалось, он, свесив голову, рассматривает короткие волосатые ноги, упорно несшие его по земле к загаданному и далѣкому. Он же отдался приятному чувству: бездумью нагого досуга, ощущенью, что легок.

Вырванный с корнями, он не успел превратиться в винтик общего дела. Его вырвали из пустоты, и ненависть к судьбе сменилась удовлетворением, что не прирос и не высох, не истлел, а вырастил, — замирая и лелея, в молчании, — надежду: перебросить мост к тем, далеким, жившим в духе. Мост через бездонную пропасть в полвека.

Надежда была спасением: старое дерево, выветренное и вымытое, багровое солнце, рассеченное на две половинки тонкой плоскостью облачка, — вот лекарство, лечившее старую боль; рану содеяла не работа в замкнутом круге часовых и собак, не выпадение зубов, словно понявших свою ненужность, когда нет еды, и потому выпадавших, не гибель тех, с кем роднила кровь и доверие; язва зацветала в душе и превращалась в воронку засасывающую, чтобы через длинный сквозной отромок излить в безумие, — когда стоял эшелон ночью, на дальних путях, и тьма, заполненная дыханьем и храпом вагонного множества, окутывала его, а вокруг, за тонкими стенами неволи на колесах, разносились голоса служащих железной дороги, усиленные электричеством:

— Гара-пара-гамара! мара-мара... ган-та-ла-ру-ба-беро!..

Заткнув уши, он боролся с мороком, изобретательным, дерзким; смешивалось всё, враги нападали гурьбой: одиночество, обреченность, ужас растлеваемой жизни.

Он дал этому имя: агония духа.

Он избегал теперь ночных поездов.

Прохлада избы приятна горячему послебáнному телу.

Гурьев походил-погулял по чистому дощатому полу; умиротворенный, слушал гуденье огня в печи, гревшей воздух и чайник. Он уселся на круглый толстый чурбак, открыл печную дверцу: в огненной округлой пещере шла своя жизнь, рождавшая свет и уют.

Есть в замкнутом бытии, — в узком круге дел и людей, — особенное: чувство не сыпется пылью, цельное, не разменено в мелких знакомствах.

Вот Пищулин, симпатичен, множится привязанность к нему, а лучше ли чем — иных? Но друг другу пришлись, не говоря, молчаливо, думая о своем и не сверяя мыслей.

Гурьев сидел перед печкою с кружкой мутноватого — до того крепкого — чаю; следил с удовольствием за колыханием ленивого неотвязного пламени.

«Что же, — вновь поразился он, — пропили всё сразу, в один год, в один октябрьский денек.

Долго, долго, весь век девятнадцатый беспокоились о Царьграде, 'наш' он, 'не наш'; тем временем зрело несчастье.

Быстро смыли с них тысячелетнюю веру! Была — и нет; живут без праздника, просто; без радости же существующий — гниет, словно срубленный ствол: самый смолистый и плотный пролежит триста лет, они — полвека лежат, сгнили и гнилых зачали детей.

Водка и баня победили Христа; Он был пришлым для них, чужаком из неизвестного места Голгофа. Туда не доехать; в здешнем климате не расти Гефсиманскому саду; весть, под знойным солнцем родившаяся, здесь была чужестранкой, хрупкой и нежной; легко победил ее симбирский креститель, прочитав одну лишь брошюру...»

Зеленоватую полосой стояло сияние в небе, взлетали безмолвно голубые мечи: колеблясь, они отрывались и потухали, на фоне таинственного свечения резко очерченные чернели крест и маковка церкви.

Ощущенье причастности к небосводу, полному мерцания звезд, к переливам мощной игры сияния, к порыву вознесшегося креста-посредника, — завладело им, обновленное, чистое, и он чувствовал, что — един телом и душою с небом, снегом и воздухом; забрезжила в нем догадка, которую не сказать словами ли, или иначе; догадка была полоскою света, пробившимся в узкую щёлку, когда кругом тьма и нехорошо.

Он подумал, чувствуя сильно бьющееся сердце, когда ликование спало, оставив покой и гармонию в душе, — что странен и долговат был путь вести, которую вновь услышал сегодня. Ее принесли Савватий и Зосима —

сюда далеко, в море на острова; была с ними весть, и стала понятной иным, трудом обозначенная в камне, вознесшем — крест. Через хляби и лес пришла на Чарозеро и воплотилась...

Он дернул головою: по глазам полоснул яркий свет.

— Фома Палыч, извините, думал — не вы, — лебезил в темноте пьяненький голос. — Что же вы... не идете, Манютин приехал...

— Крошевидов?

— Так точно!

— Выпил?

— А что ж не выпить. На свои малые пью, не на ваши, Фома Палыч. А вам рекомендую выписать мне двадцаточку.

— Почему?

— На ремонт циркулярной пилы. Моя пила или не моя? Моя личная собственность, товарищ директор. Возьму вот запрягу лошадь, погружу собственность и уеду. Вот так.

— У нас договор заключен, — рассеянно сказал Гурьев. — Деньги вам выплачены за месяц вперед. Баста.

Крошевидов раскачивался перед Гурьевым, хихикал, игриво грозил пальцем.

— Брось, начальник... я законы знаю... и люблю их...

У сарая, отведенного под магазин, толпились, быть стараясь степенными, но в глазах горело желанье; магазин толпу засасывал через узкую дверь.

Тускло светила летучая мышь на прилавке. Продавщица, поднятая с постели, — в растрепанных волосах, поверх — съехавший полушалок, — по листку грубой бумаги водила карандашом, писала фамилии и количество, взятое в долг.

Похожа была она в неясном керосиновом свете на распорядительницу грядущего шабаша. Приглушенный

говор и гам, толкотня шуб-полушубков и бесшумный валенный ход по полу, — посторонний думал бы: тайная сходка. Записав же бутылку, две, десять — по потребности, мужики расходились.

В одиночестве выпитый алкоголь — первоначальный, поспешный, кровь убыстрив, потребовал дальше — общения. У Пищулина в доме началось многолюдье.

Жарко топилась печь; гам разговора мешался с дымом табачным, создавался пьяный уют. Вдоль стены, не занятой стульями, неисчислимый длился бутылочный ряд, поблескивал, внушал уверенность в завтрашнем дне: и он будет таким же плотным, когда заткнуты щёлки, — в щёлки пролезла б тоска непонятой жизни.

Оставлена была еда, не нужная полным хмели телам, куски лосиного мяса достались собаке: тяжело вздыхая, утомленная излишеством пищи, собака дремала у печки.

Там-тут мелькал помощником беса Крошевидов, угощал, хихикал; светил пуговицами китель железно-дорожного служащего, добытый неизвестно где. Личико его было лишено черт, лишь носик вперед выступал, ненужный, приставленный спохватившимся творцом к серединке круглого ноздреватого блинчика; над носиком маслились глазки.

Пищулин туманно смотрел и курил, подолгу неся папиросу — ко рту; рубаху он скинул, в майке сидел. Тело его, северянина, не знавшее соразмерных движений, не являло пропорций: впалая грудь, тощая — край, обетованный для палочки Коха; руки же — крепкие умелой плотницкой силой.

— Пей, Василий, — бормотал он, толкая Манютина, пившего дольше их, начавшего в Покрове, сейчас — спавшего, уложив голову посреди тарелок и наломанного хлеба.

Манютин голову поднимал — медленно. Нетвердо держалась она, будто головка мака на зеленом тонень-

ком стебле, поваленная ливнем. Наполовину не попадая в стакан, лилась струя огненной жидкости, чтобы выпил конюх, развеселился, вспомнил бы, что живет один раз.

— Прости... Пищулин... друг... выпьем и снова нальем... — рвался в напев перейти говор, но песня не строилась, задыхалась под тяжестью языка.

— Скажи, Пищулин... лошадь согласия не давала, а мы на ней ездим... а?

— Арканом ее, арканом! — смеялся Крошевидов.

— Обманом взяли, точно... человек — гнида, обманом берет. А возьмет — тут и хомут, супонь затягивает, а? Гнида, в телескоп не разглядишь, а ездит, «но» говорит...

Спали на острове Птаха долго.

Поутру ветерок, чуть забирая снега, мел его через гребни сугробов — на крыльцо, скрывая тропу к магазину, стоптанную в ночь.

Ветер был резче на юру, вокруг церкви. Гурьев прислушивался: строение отзывалось — нет, не гудением с легким звоном, как новое, крепко сплоченное, упругости не было в дереве; ветер пришептывал и шепелявил, и стремительный воздух, затекая в трещины, шуршал отслоившимися щепочками, сыпал деревянную крошку.

Окружность горизонта, обложенная кудрявыми тучами, означала близкую метель. Гурьев огорчился, что станет работа, почти не начавшаяся.

Заметив черное и шевелящееся, вздрогнул: летел вертолет с Лупкиным; заместитель вёз зарплату умельцам и свой образ мыслей. Гурьев пожалел о слишком быстро минувших днях без острого глаза.

Он ушел к себе, чертил и ждал неизбежного стука в дверь; услышав, крикнул, что можно.

Краснощекий ввалился Сергей Дмитриевич Лупкин, толстогубый, избыточное мясоросло на костях черепа, уродуя миловидное, может быть, в юности лицо.

— Насилу выбрался, Фома Павлович! — говорил, как чеканил, Лупкин.

— Здравствуйте, — сухо вато сказал Гурьев.

— Нет ли чаю? Спасибо, спасибо, погреюсь чуток, — скинув шубу, Лупкин садился перед печкою.

— Был я, Фома Павлович, в отделе культуры городского комитета партии, — начал заместитель, и Гурьев поморщился: он не любил, когда Лупкин избегал сокращений.

— ...так вот, и районный комитет, и городской комитет придают нашей работе огромное значение... выходящее за пределы области и приобретающее международный аспект... («Тьфу, каналья!» — содрогнулся Гурьев: брезгливый слух его изнемог моментально).

Лупкин причмокивал, с удовольствием произнося каждое слово:

— Так вот, в отделе культуры городского комитета партии («Нарочно!» — опустошенно подумал Гурьев)... считают, что ремонт культурного памятника, а именно церкви Савватия и Зосимы можно... гм! не форсировать, а форсировать строительство пристани, чтобы остров Птаха смог принять первую группу туристов в третьей декаде июня. Причем первая группа будет состоять из представителей зарубежных туристических фирм... ну, и наши товарищи, конечно... Возможно, что Птаху посетит большой друг нашей страны Херлуп Быстров*!

Холодное бешенство выворачивало Гурьева наизнанку; нарочито медленно он налил стакан чаю.

— А если упадет завтра Савватий и Зосима? Немыслимо, Сергей Дмитриевич. Я думаю, что остров сможет принять посетителей не раньше осени, октября, может быть.

— Какая незрелость и непонимание текущего момента, Фома Павлович! — Лупкин удрученно смотрел

*) Херлуф Бидstrup — «прогрессивный» датский карикатурист, сотрудничающий в советской прессе. — Р е д.

на Гурьева. — Стране нужна валюта. И наш остров должен ее дать. Уникальный памятник русского зодчества...

— Довольно, — оборвал Гурьев. — Это я знаю не хуже вас, значит, мы оба в курсе дела, зачем же одному из двоих повторять то, что известно обоим? Циркулярную пилу привезли?

Лупкина передернуло: какая невоспитанность нарушать официальную часть!

— Нет.

— Почему, Сергей Дмитриевич?

— Видите ли... на складе нет...

— Значит, доски для причала будут?

— Первым же судном.

— Ни досок, ни пилы, стало быть? Одни «лучшие друзья нашей страны»? Валюта нужна? Предлагаю быстрый способ: послать комсомолочек попышнее к интуристам, а те чтоб рублями — ни-ни. А то церкви реставрировать, стараться, а зачем. Глупость.

Ошарашенный Лупкин забывал дышать.

— Вы... вы... вы... Фома Палыч!! — взвизгнул он. — Я должен буду... ин-фор-ми-ро-вать... горком!

Из прищуров глаз Гурьева, не скрываясь, посмотрела ненависть.

— Кстати, Сергей Дмитриевич... — процедил он. — Чтобы не было у вас неприятностей... не Быст-ров, а Бис-труп.

— Спасибо... товарищ... Гурьев...

Оглядываясь, Лупкин распахивал поспешно дверь: ворвались клубы морозного пара. Заместитель исчез.

Гурьев гадливо подумал: Хер-луп Бис-труп, что ни друг — одна непристойность. Донесет, наверное, Лупкин; опять лететь объясняться.

Запряженная лошадь, голову опустив, у магазина ждала седоков. Попеременно поджимала ноги, копыто держа на весу, — в снегу мерзли. Зелье набирали мужики из соседней деревни; дымно было в узком проходе

между стеной и прилавком, курили, пташские тут же толклись: пьянство обретало второе дыхание.

Манютин, лошадь увидев, к ней повернул.

— Что-то занесло тебя!

Добравшись, гладил заиндевевшую морду; лошадь хлопала огромными белыми — в инее же — ресницами; из-под полукороны мерцающих кристалликов льда показывалась влажная каряя жизнь зрения. Манютин отер иней с ресниц, чувствовал, что сердце ему разрывает жалость к печальным глазам. Он поднес к толстым губам кусок темного, в крошках табачных, сахара; конь, теплом дохнув на ладонь, лакомство взял. Манютин сладко заплакал.

Он разнуздал лошадь, плача, супонь развязал и стащил торопливо хомут; распрягал, всхлипывая, ногою пинал хомут, брошенный в снег. Лошадь стояла недвижно, головою мотнула, когда конюх, стаскивая уздечку, неловко задел ремешком уши.

— Ступай, лошадка! — ласково говорил Манютин и легонько ударил животное. Лошадь шагнула, оглянулась недоуменно на плачущего.

Манютин свистнул и гикнул, и конь рванулся; заржав, остановился неподалеку, но Манютин руками махал и гикал, — конь галопом ушел в пелену теплой вьюги.

Манютин побежал, проваливаясь, задыхаясь, к конюшне; торопясь, ключ не искал по карманам — ломом сбил запор, дрожал и боялся, что не успеет, что остановят любители запрячь-покататься. Он вывел обоих пташских коней, уздечки стащил с них, отшвырнул далеко.

— Гуляйте, Божьи твари! — кричал Василий: глядел вслед скачущим лошадям, ликовал сердцем, слёз не замечая своих.

— Вольному воля! — махал он руками, свистел и гикал, притоптывая, и всё терялось — в шуршании снега, влекомого ветром по насту.

Плотная воздушная масса давила с силою на восточную стену церкви Савватия и Зосимы. Старость дерева была очевидна стихии: не слышалось победного гудения свежесплоченных брёвен, — шуршанье, шёпот, шепелявый говор наполняли постройку. Купол, чуть наклоненный, лежал на балках, вязавших верхние грани восьмерика. Волокна венцов, побежденные влагой, безлюдьем, мягкие и трухлявые: долго вымывалась накопленная стволами смола, теперь была вымыта, — волокна расступались перед превосходящей силою.

Наставал час непредвиденный, ведь час своей смерти знает — не каждый.

Стволы верхнего венца, вырубам посередине охватившие конец балки-замка, крошились; купол крепился, не держали износившиеся в трудной работе брёвна. Скрип проваливания купола — в восьмигранник — не был слышен в тонко поющей смертоносной вьюге. Мертвый вес лег на западную стену, и не мог в немоте дерева позвать храм — на помощь; он был одинок, — с тех пор, как не чувствовал более верного взгляда; оскорбляем же был повседневно — шарящим глазом знатока, свинцовым глазом начальников, и ядовитый тусклый металл, несносимый, ложился на стены.

Купол был — точно голова, ушедшая в плечи; западная стена выгибалась дугой, становилась беременным животом, беременна же была — разрушением.

Что слаще той чистой грусти, которая нисходит ночью, когда ты один и ничто не тревожит, когда позади — отчаянье упавшего в охотничью яму, крещение страхом; тебе дан отдых, потому что испытано всё — и ничем теперь не смутится душа. Ночь одиночества обезопасена неистовым ветром и холодом, пути непроезжы, а перед тобою в печи — лик трудящегося огня; подвижный полусвет керосиновой лампы колышет расплывающиеся тени предметов: бег времени прекращен, впереди вечность ночи.

Защищенный, ты чувствуешь, что и тело, и дух — два исконных врага, убивающие и воскрешающие друг друга, — примирены: воцарилось добро; и тогда — из тайника-сердца выходит любовь ко всему, поскольку забыто и сгинуло до утра — нелюбимое. О, как значительна — чашка с чаем: он ароматен и сладок; красноватое ребристое полено осины подарит чуть терпким запахом свежести и дальнего леса.

Тогда рождается сентиментальная и робкая мысль, что нужен тебе — мир, а ты нужен — миру, но не уменьем своим, а потому просто, что ты — есть, что тебе дарована — Жизнь.

Так чувствовал Гурьев, расслабившись, и поэтому был открыт для неожиданно ворвавшейся боли — сердце замерло на мгновение и темная стрела пролетела через сознание.

Словно где-то происходящее звало его; обеспокоенный, Гурьев тщился понять, — откуда зов, повернулся на скрип открываемой двери: из снежного вихря вынырнул пёс, лохматый и быстрый, вслед за ним переступил порог — Пищулин.

Невнятно приветствовал он Гурьева, покачивался; пёс же шумно вынюхивал, не обронена ли где — пища.

— Чаю хочешь, Борис Николаевич?

— Спаси...бо... нет... где там, какой чай... Выпить не хочешь, Фома Палыч, дав...ай выпьем... чудаки, оттого-ста пьем, не пить — никак, не пить — как же... чёртову водку!

Он сник, покачивал головой. Гурьев, жалея его, видел в черных и гладких иноческих волосах — разбросанные седые.

— Фома... отчего-ста... скве-рно, но?

«Что сказать ему, подумал Гурьев, чем утешить неизвестное горе?» Что же, вдруг вспомнил он тоску далекого друга, умершего за десятилетие до рождения его, легкомысленного архитектора; и этот умерший книги писал, точно рассказывал умно о неумной русской

жизни. В предсмертье, окруженный домиками неновыми, слепыми, лаврской стеной и куполами, которые разгадывал в благодушное время, — он благодарен был за фунтик муки. Тот, далекий, знал, что иная жизнь неминуема, и придет за истлением, за первым днем еще неслышного смрада.

Что же, когда расплясалась гибель на всех углах, и осязал ее, видел, слышал, что же смутился перед исчезновением и неустройством тела?

— Гад...ость-ста, — Фома Палыч, вот как.

Гурьев, забывший о присутствии человека, вздрогнул; плотник, живший второй день не здесь — в невестомости пьяной мысли, в раю, выстроенном на земле строем бутылок, вернувший заработок ревнивой казне, плотник вставал, шаг делал к двери, — упал бы, не подхвати его Гурьев.

— Отвел бы... домо...мой, Фома...

Ветер был силен, пурга взвизгивала под верхами крыш, и дома виднелись расплывшимся светом из окон. Тяжелым трудом занялся Гурьев — увести Пищулина, словно раненого, от мороза, увести, чувствуя досаду и горечь быть одиноким, когда дело — для многих; не для всех, нет.

Гурьев тревожился, не видя темного тела церкви над островом, — непогода клубилась, толкала в спину, глазам же больно было смотреть.

— Переставляй ноги-то, Борис Николаевич! — сердился Гурьев.

В доме Пищулина шло многолюдное: — «Будем здоровы». Лупкин крепко сидел за столом, пил и ел торопливо; говор без смысла бродил из угла в угол.

— Тьфу, — сказал Пищулин. — Тьфу.

— Штрафную бригадиру! — взвился Крошевидов, глазками блеща, стакан подносил.

Пищулин сокрушенно мотал головой, бормотал, сквозь бормотанье прорезалось:

— Наполеон! Полководец Наполеон... маху дал, да...

— Что... б... пороша, по пороше хорошо зайца, лису, кого хошь... следки скажут, кто, куда, зачем...

— Врешь, синеблужник! Знаю вас, городских, ванна-газ,

— Мурат говорит: давайте, ваше высочество... а? гвардию двинем, и всё тут. Нет, говорит, что ж, забрались чёрт знает куда, гвардию не дам... Умный народ французы, а глупость сделали. На Семеновский овраг... надо было! Кутузов, Михайло Ларионович, обхитрил. Платов тут, конечно...

— Великая Отечественная война двенадцатого года, — сказал Лупкин.

— И тут Багра-хы! -она — ранило, навылет, умер. Вот как.

— Тьфу, чёрт, пристал, хе-хе, насчет немца скажи, Пищулин! — кричал Крошевидов.

— Вот-вот. Барклай де Толли говорит: чёрт с ней, с Москвой, эка важность. Пусть французы займут, на кой она ляд, когда жрать нечего...

— Это он зря, неправильно, — сказал Лупкин. — Нельзя отступать, позади Москва!

— Ты, Сергей Дмитрич, чепуху говоришь. Отступай, наступай, воевать уметь надо.

— Нельзя! — рявкнул Лупкин. — Таких мы...

— «Мы»! Мы — вы — вы — мы. А что — не знает.

— Мы, мы! — горячился Лупкин. — Враг, значит! Отступи, как же! А мы? Стоять насмерть. Приказ.

— Приказывать, что ли... ты будешь? — прищурился Василий Манютин.

— Прикажут приказывать, и прикажу! Понял? Я те так прицеплю, всю жизнь не отцепишь!

— Вот-вот. Багратиону пуля — и навылет.

— Много что-то... приказчиков развелось.

— Прикажу!.. Я... выучку знаю, я знаю... таких, как ты... девять грамм — и в уборную спускаем. Понял, как жили? Девять грамм, понял? И в уборную, понял?

Гурьев, думавший о другом, расслышал — сплюнул.

Тихо капало на пол жидкое; спал подмастерье, щекою прижавшись к бревенчатой стене, спал сидя. Текло ручейком: организм распорядился, не ждал, пока спящий узнает о нужде.

Тот далекий друг... умница, перед смертью — не принял смерти, тоскуя о жизни, — отрёкся... от Него.

Он поспешил, он не заметил, что истока было два, бессмертие и предательство его, бессмертия. Иисус и Иуда, вот два истока, не равновысокие, но равномошные. В судьи позвал кесаря, вот что сделал Иуда, не просто поцеловал, нет. И кесарь с тех пор присутствует с ними везде. Иисус и Иуда, враги; побеждает второй, но всегда ли, в сердце ли?..

Иуда крестил, не Иисус: уверуют многие, чтобы — вместе, чтобы — мы, мол. Иудой крещены в предательство неверия: не это, а то. Иисус крестил в свободу. Не это, потому что настало уже — то. Неверие разрешилось прозрением, высоким, свободным. Христос крестил немногих. Иуда — остальных: чтобы — мы.

Не Христа запятнал указующий поцелуй, нет, отмечены им — в Христе увидевшие средство от страха; они не узнали свободы, не искали ее, искали — чувство локтя, нашли. Чувство локтя легко вырастить всюду, потому-то одолел сибирский адвокат-самоучка, одолел одною брошюрой. Ученики усердны, умелы, поняли, как надо — в Европе. Дело Иуды живет и побеждает.

Пока не придет Христос чистый, без Гефсимании, — и лишит Иудой воспитанных — дерзко присвоенного Имени.

Странная боль вторглась в Гурьева, словно позвал его кто-то: помочь.

— Пищулин! Оцени... ты знаешь, оцени...

Перед Гурьевым повисли ноги: с печки слезал проснувшийся Дзинтарс, механик: пришел давно и прижился.

— Оцени, вот...

Топор был великолепен. Чуть округлое лезвие, суживаясь, равномерно толстело в обух; новый топор, не ступлены обушные грани, и топорище — темное, плавное в линиях, взявшее форму у лапы звериной, с утолщением на конце.

Длилась церемонья осмотра.

Пищулин даже опомнился чуть, слушал звон лезвия — не слишком высокий, не сухой, как звенит перекаленная сталь, не низкий — рыхлого мягкого металла; звон тонкий и мелодичный проникал до сердца, руки вспоминали меткую чистую работу, для которой — этот предмет.

Крошевидов, повертев топор, по обуху чиркнул напильником; осмотрев царапину, хмыкнул, взгляд бросил в Гурьева хитрый:

— Славный топор, Фома Палыч! Какой надо... Сколько их видел, миллион, а этот — редкостный... хорош!

Лупкин был безразличен.

Конюх в воздухе помахал инструментом, пробуя: захват удобен ли. Размахнулся. Лезвие ушло глубоко в деревянный чурбан.

Гурьев слышал, уходя в клубящийся вихрь:

— Ничего, ничего — топор-ста.

— Обмыть.

— Будем здоровы.

...Пройдя вчетверо более трудный путь вверх, к церкви, Гурьев встретился, под свист и завывание вьюги, с близкой — через мгновение? час? — катастрофой. Он понял, что торцы балок, вязавших восьмерик, вырвались из вечных пазов, купол — пал, как в стакан, в восьмигранник, раздавал и крошил угловые вязки: стволы под тяжестью мертвого купола выпирали кладку западной стены — в горб.

Ладонь приложив к стене, он почувствовал напряжение старательной смерти.

Опустошенье свершилось в нем: поддержки ища, глянул вверх, где — видя, не видя — угадывал крест.

Мгновенная злость — злость игрока, хода не предусмотревшего, — обратилась в энергию.

Действовать. Втащить брус, два, три, стоямя упереть их в горб; по окончанье погоды, раньше ли, как рассветет — разбирать церковь.

Он был уже, не заметив дороги, внизу.

— Падает. Манютин, лошадей. Одевайтесь, живо.

— То есть... что? — качался Лупкин.

— Пищулин! Слышишь!

Качались вокруг лица на слабых водкою шеях: нельзя было собрать понимающих глаз.

— Завтра пойдем, Фома Палыч, и всё... увидим... — всхрапывая, говорил Пищулин: гнусаво, — нос зажал он, лицо положив на руки. — Не упаде-е-ет, хорошо строили... сосна крепкая, колечки — спилишь — тонень...нькие...

— Падает.

— Нельзя! — закричал Лупкин. — Туристы, интуристы... в июне... Стране нужна валюта... Упадет... девять грамм... и в уборную...

Манютин смотрел на Гурьева, не спешил вставать.

...Волокна цеплялись друг за друга, несильна была сцепка — старость. Неохотно тронулся с места, налёженного за триста лет, ствол из верхнего четверикового венца.

— Чего ждешь, Манютин? За лошадьми!

— Нет лошадок-то, товарищ, брат и начальник... — Василий ненависти не таил, глядел прямо — Гурьеву в бешеные глаза.

— Где?

— Отпустил погулять, начальник, освободил. А?! На себе вези, вот как. Хватит, позапрягали, вот как. Божьи твари они, начальник, понял? Дай тебе волю, на нас бревна повезешь, возил, небось, песок-глину, а? А не повезешь теперь ничего, нету, хвостиками махнули — и нету, ничего нету, возить собрался! Ты отдохни, начальник, отдохни, беспокойный очень, запрягай, говоришь, а некого запрягать, хватит, назапрягался! Запрягай, говоришь?! — Манютин в упор смотрел на Гурьева, даже и улыбался побелевшими губами, смотрел сверху вниз — ненависть густела в глазах, он задышался.

Купол осел глубже. Выступившие наружу бревна влекли нижние за собой: ветер подталкивал в спину — церковь; не противились более стены: стали парусом, парусом низвержения.

— Вот так! Не запряжёшь никого, начальник, хватит, всё тут, дармоед! На шею уселся, сидишь крепко, а сам-то — говноед!

Форма, изобретенная давно, высокая — не без восторга ли? — гибла в безлюдье. Отделившийся будто крест висел в белой мгле над тонущим куполом. Не поддерживаемый ничем, он колебался, он очертанья терял, в невесомое превращался — стать невидимой вестью, потому что: дрогнувшая масса дерева беззащитна была перед налетающим вихрем.

— Запрягай, говоришь?!

Рука, привычная к точности, послала сверкнувшее в Гурьева.

С треском, вой метели покрывшим, рухнула западная стена: купол, точно огромная голова, выкатился, умчался по склону. Восточная сторона качнулась: был

в ней невидимый маятник, и он оторвался — стена с алтарным притвором упала плашмя: воздвигнулась нищета запустения.

Не было больно — слишком страшный удар, он лоб Гурьева отодвинул назад; глаза, по инерции оставшись на месте, — выскочили из ушедших орбит.

Аккуратный пролом, форму приняв копытца, стал сине-черным: копытце прыснуло кровью.

Он почувствовал — разбежались юркие мысли, легкое потрескивание рвущихся нитей, волокон — они расползались прочь, торопливо, словно опасность грозила в будущем, словно не состоялась.

В черной мгле вспыхнули яркие белые искры.

Глухо ударило в пол тело, закончив бег по земле.

В тишине наступившей прорезался свист метели и шипение пузырящейся исторгаемой крови.

Воркута

1965

Государственный житель

Рассказ

Пожилой человек любил транспорт наравне с кооперативами и перспективой будущего строительства. Утром он закусывал вчерашней мелочью и выходил наблюдать и наслаждаться. Сначала он посещал вокзал, преимущественно товарные платформы прибытия грузов, и там был рад накоплению товаров. Паровоз, сопя гущей своих мирных сил, медленно осаживал вагоны, полные общественных веществ: бутылей с серной кислотой, бугров веревок, учрежденческой кладки и необозначенных мешков с чем-то полезным. Пожилой человек, по имени Петр Евсеевич Веретенников, был доволен, что их город снабжается, и шел на платформу отправления посмотреть, уходят ли оттуда поезда в даль Республики, где люди работают и ожидают грузов. Поезда уходили со сжатыми рессорами, — столько везли они необходимой тяжести. Это тоже удовлетворяло Петра Евсеича, — тамошние люди, которым назначались товары, будут обеспечены.

Невдалеке от станции строился поселок жилищ. Петр Евсеевич ежедневно следил за ростом сооружений, потому что в теплоте их кровя приютятся тысячи трудящихся семейств и в мире после их поселения станет честней и счастливей. Покидал строительство Петр Евсеевич уже растроганным человеком — от вида труда и материала. Всё это заготовленное добро посредством усердия товарищеского труда скоро обратится в прочный уют от вреда осенней и зимней погоды, чтобы

Этот рассказ был впервые опубликован в журнале «Октябрь» № 6 за 1929 г. Москва. Перепечатывается впервые.
— Р е д.

самое содержание государства, в форме его населения, было цело и покойно.

На дальнейшем пути Петра Евсеевича находился небольшой, уже использованный сельской общественностью лес, лишь изредка обогащенный строевыми, хотя и ветшающими соснами. В межевой канаве того малого леса спал землемер; он был еще не старьей, но изжитый, видимо, ослабевший от землеустройства человек. Рот его отворился в изнеможении сна, и жизненный тревожный воздух смоляной сосны входил в глубину тела землемера и оздоравливал его там, чтобы тело вновь было способно к землеустройству пахарей хлеба. Человек отдыхал и наполнялся счастьем попутного покоя; его инструменты — теодолит и мерная лента — лежали в траве, их спешно обследовали муравьи и сухой паучок, проживающий от скупости всегда одиночно. Петр Евсеевич нарвал травы среди ее канавного скопища, оформил ту траву в некую мякоть и подложил ее под спящую голову землеустроителя, осторожно побеспокоив его, чтобы получилось удобство. Землемер не проснулся, — он лишь простонал что-то, как жалобная сирота, и вновь опустилсЯ в сон. Но отдыхать на мягкой траве ему уже было лучше. Он глубже поспит и точнее измерит землю, — с этим чувством своего полезного участия Петр Евсеевич пошел к следующим делам.

Лес быстро прекращалсЯ, и земля из-под деревьев переходила в овражные ущербЫ и в еще не сверстанную чересполосицу ржаных наделов. А за рожью жили простые деревни, и над ними воздух из жуткого пространства. Петр Евсеевич считал и воздух благом, — оттуда поставлялось дыхание на всю площадь государства. Однако безветренные дни его беспокоили: крестьянам нечем молоть зерно и над городом застаиваетсЯ зараженный воздух, ухудшая санитарное условие. Но свое беспокойство Петр Евсеевич терпел не в качестве страдания, а в качестве заботливой нужды, занимающей

своим смыслом всю душу и делающей поэтому неощутимой собственную тяжесть жизни. Сейчас Петр Евсеевич несколько волновался за паровоз, который с резкой, задыхающейся отсечкой пара, доходившей до напряженных чувств Петра Евсеича, взволакивал какие-то грубые грузы на подъем. Петр Евсеевич остановился и с сочувствием помощи вообразил мучение машины, гнетущей вперед и на гору косность осадистого веса.

— Лишь бы что не лопнуло на сцепках, — прошептал Петр Евсеевич, сжимая зубы меж зудящих десен. — И лишь бы огню хватило, — ведь он там воду жжёт! Пусть потерпит, теперь недалеко осталось...

Паровоз со скрежетом бандажей пробуксовывал подъем, но не сдавался влипающему в рельсы составу. Вдруг паровоз тревожно и часто загудел, прося сквозного прохода: очевидно, был закрыт семафор; машинист боялся, что, остановившись, он затем не возьмет поезда в упор подъема.

«И что это делается, Господи Боже мой!» — горестно поник Петр Евсеевич и энергично отправился на вокзал — рассмотреть происшествие.

Паровоз дал три свистка, что означает остановку, а на вокзале Петр Евсеевич застал полное спокойствие. Он сел в зале третьего класса и начал мучиться: «Где же тут государство? — думал Петр Евсеевич. — Где же тут находится автоматический порядок?»

— Щепотко! — крикнул дежурный агент движения составителю поездов. — Пропускай пятьдесят первый на восьмую. Сделай механику и главному отметку, что нас транзитом забили. Ты растаскал там цистерны?

— Так точно! — ответил Щепотко. — Больше пока ничего не принимайте, — мне ставить некуда. Надо пятьдесят первый сработать.

«Теперь мне всё понятно, — успокоился Петр Евсеич. — Государство тут есть, потому что здесь забота. Только надо населению сказать, чтобы оно тише существовало, иначе машины лопнут от его потребностей».

С удовлетворенным огорчением Петр Евсеевич покинул железнодорожный узел, чтобы посетить ближнюю деревню, под названием Козьма.

В той Козьме жило двадцать четыре двора. Дворы расположились по склонам действующего оврага и уже семьдесят лет терпели такое состояние. Кроме оврага, деревню мучила жажда, а от жажды люди ели плохо и не размножались как следует. В Козьме не было свежей и утоляющей воды, — имелся небольшой пруд среди деревни, внизу оврага, но у этого пруда плотина была насыпана из навоза, а вода поступала из-под жилья и с дворовых хозяйственных мест. Весь навоз и мертвые остатки человеческой жизни смывались в ложбину пруда и там отстаивались в желто-коричневый вязкий суп, который не мог служить утоляющей влагой. Во время общегражданских заболеваний, а именно холеры, тифа или урожая редкого хлеба, потому что в здешней почве было мало тучного добра, — люди в Козьме ложились на теплые печи и там кончались, следя глазами за мухами и тараканами. В старину, говорят, в Козьме было до ста дворов, но теперь нет следов прошлой густоты населения. Растительные кущи покрыли обжитые места вымороченных усадеб, и под теми кущами нет ни гари, ни плеши от кирпича или извести. Петр Евсеевич уже рылся там, — он не верил, чтобы государство могло уменьшиться, он чувствовал размножающуюся силу порядка и социальности, он всюду наблюдал автоматический рост государственного счастья.

Крестьяне, проживающие в Козьме, уважали Петра Евсеевича за подачу им надежды и правильно полагали, что их нужду в питье должна знать вся Республика, а Петр Евсеевич в том их поддерживал.

— Питье тебе предоставят, — обещал он. — У нас же государство. Справедливость происходит автоматически, тем более питье! Что это — накожная болезнь,

что ли? Это внутреннее дело, — каждому гражданину вода нужна наравне с разумом!

— Ну, еще бы! — подтверждали в Козьме. — Мы у советской власти по водяному делу на первой заметке стоим. Черед дойдет — и напьемся! Аль мы не пили сроду? Как в город поедешь, так и пьешь.

— Совершенно верно, — определял Петр Евсеевич. — Да еще и то надо добавочно оценить, что при жажде жизнь идет суше и скупее, ее от томления больше чувствуешь.

— От нее без воды деться некуда, — соглашались крестьяне. — Живешь — будто головешку из костра проглотил.

— Это так лишь мнительно кажется, — объяснял Петр Евсеевич. — Многое покажется, когда человеку есть желание пить. Солнце тоже видится тебе и нам жарой и силой, а его паром из самовара можно зазастить и потушить — сразу на скатерти холод настанет. Это только тебе и нам так воображается в середине ума...

Петр Евсеевич себя и государство всегда называл на «вы», а население на «ты», не сознавая, в чем тут расчёт, поскольку население постоянно существует при государстве и обеспечивается им необходимой жизнью.

Обычно в Козьме Петру Евсеевичу предлагали что-нибудь поесть — не из доброты и обилия, а из чувства безопасности. Но Петр Евсеич никогда не кушал чужой пищи: ведь хлеб растет на душевом наделе, и лишь на одну душу, а не на две, — так что есть Петру Евсеичу было не из чего. Солнце — оно тоже горит скупой и социально: более чем на одного трудящегося едока оно хлеба не нагревает, стало быть, вкушающих гостей в государстве быть не должно.

Среди лета деревня Козьма, как и все сельские местности, болела поносом, потому что поспевали ягоды в кустах и огородная зелень. Эти плоды доводили желудки до нервности, чему способствовала водяная гуща

из пруда. В предупреждение этого общественного страдания козминские комсомольцы ежегодно начинали рыть колодцы, но истощались мощью непроходимых песков и ложились на землю в тоске тщетного труда.

— Как это вы всё делаете без увязки? — сам удручался и комсомольцев упрекал Петр Евсеевич. — Ведь тут грунт государственный, государство вам и колодезь даст, — ждите автоматически, а пока пейте дожди! Ваше дело — пахота почвы в границах надела.

Покидал Козьму Петр Евсеевич с некоторой скорбью, что нет у граждан воды, но и со счастьем ожидания, что, стало быть, сюда должны двигаться государственные силы и он их увидит на пути. Кроме того, Петр Евсеевич любил для испытания ослабить свой душевный покой посредством и организации малого сомнения. Это малое сомнение в государстве Петр Евсеевич выносил с собой из Козьмы вследствие безводия деревни. Дома Петр Евсеевич вынимал старую карту Австро-Венгрии и долгое время рассматривал ее в спокойном созерцании: ему дорога была не Австро-Венгрия, а очерченное границами живое государство, некий огороженный и защищенный смысл гражданской жизни. Под картиной севастопольского сражения, которая украшала теплое, устойчивое жилище Петра Евсеевича, висела популярная карта единого Советского Союза. Здесь Петр Евсеевич наблюдал уже более озабоченно: его беспокоила незыблемость линии границ. Но что такое граница? Это замерший фронт живого и верного войска, за спиной которого мирно вздыхает согбенный труд.

В труде есть смирение расточаемой жизни, но зато эта истраченная жизнь скопляется в виде государства — и его надо любить нераздельной любовью, потому что именно в государстве неприкосновенно хранится жизнь живущих и погибших людей. Здания, сады и железные дороги — что это иное, как не запечатленная надолго кратковременная трудовая жизнь? Поэтому

Петр Евсеевич правильно полагал, что сочувствовать надо не преходящим гражданам, но их делу, затвердевшему в образе государства. Тем более необходимо было беречь всякий труд, обратившийся в общее тело государства.

«Нет ли птиц на просе? — с волнением вспоминал Петр Евсеевич. — Поклюют молодые зернышки, чем тогда кормиться населению?»

Петр Евсеевич поспешно удалялся на просяное поле и, действительно, заставлял там питающихся птиц.

«И что же это делается, Господи Боже ты мой? Что ж тут цело будет, раз никакому добру покоя нет? Замучили меня эти стихии — то дожди, то жажда, то воробы, то поезда останавливаются! Как государство-то живет против этого? А люди еще обижаются на страну: разве они граждане? Они потомки орды!»

Согнав птиц с проса, Петр Евсеевич замечал под ногами ослабевшего червя, не сумевшего уйти вслед за влагой в глубину земли.

«Этот еще тоже существует — почву гложет! — сердился Петр Евсеевич. — Без него ведь никак в государстве не обойдешься! — и Петр Евсеевич давил червя насмерть: пусть он теперь живет в вечности, а не в истории человечества, здесь и так тесно».

В начале ночи Петр Евсеевич возвращался на свою квартиру. Воробы тоже теперь утомнились и жрать на просо не придут; а за ночь зернышки в колосьях более созреют и окрепнут — завтра их выклевать будет уже трудней. С этим успокоительным размышлением Петр Евсеевич подъедал крошки утреннего завтрака и преклонял голову ко сну, но заснуть никак не мог; ему начинало что-нибудь чудиться и представляться; он прислушивался — и слышал движение мышей в кооперативах, а сторожа сидят в чайных и следят за действием радио, не доверяя ему от радости; где-нибудь в редко посещаемой степи кулаки сейчас гонятся за селькором, и одинокий государственный человек падает без

сил от ударов толстой силы, подобно тому, как от неуравновешенной бури замертво ложится на полях хлеб жизни.

Но память милосердна: Петр Евсеевич вспомнил, что близ Урала или в Сибири — он читал в газете — начат возведением мощный завод сложных молотилок, и на этом воспоминании Петр Евсеевич потерял сознание.

А утром мимо его окон проходили на работу старики-кровельщики, нес материал на плече стекольник, и кооперативная телега везла говядину; Петр Евсеевич сидел как бы пригорюнившись, но сам наслаждался тишиной государства и манерами трудящихся людей. Вон пошел в потребительскую пекарню смирный, молчаливый старичишка Терморезов; он ежедневно покупает себе на завтрак булочку, а затем уходит трудиться в сарай Копромсоюза, где изготавливаются веревки из пеньки для нужд крестьянства.

Разутая девочка тянула за верёвку козла — пастись на задних дворах; лицо козла, с бородкой и желтыми глазами, походило на дьявола, однако его допускали есть траву на территории, значит, козел был тоже важен.

«Пускай и козел будет, — думал Петр Евсеевич. — Его можно числить младшим бычком».

Дверь в жилище отворилась и явился знакомый крестьянин — Леонид из Козьмы.

— Здравствуй, Петр Евсеич, — сказал Леонид. — Вчерашний день тебе у нас обождать, а ты поспешил на квартиру...

Петр Евсеевич озадачился и почувствовал испуг.

— А что такое вышло? А? Деревня-то цела, на месте? Я видел, как один нищий окуроч бросил, не спалил ли он имущество?..

— От окурка-то деревня вполне сохранилась... А только что ты вышел, — с другого конца два воза едут, а сзади экипаж и в нем старик. Старик говорит: «Граж-

дане, а не нужна ли вам глубокая вода?» Мы говорим: «Нужна, только достать ее у нас мочи нет». А старик сообщает: «Ладно, я — профессор от государства и вам достану воду из материнского пласта». Старик поночевал и уехал, а два техника с инструментом остались и начали почву щупать внутрь. Теперь мы, Петр Евсеевич, считай, будем с питьем. За это я тебе корчажку молока завёз: если б не ты, мы либо рыли зря, либо не пивши сидели, а ты ходил и говорил: ждите движения государства, оно всё предвидит. Так и вышло. Пей, Петр Евсеевич, за это наше молоко...

Петр Евсеевич сидел в разочаровании, он опять пропустил мимо себя живое государство и не заметил его чистого первоначального действия.

— Вот, — сказал он Леониду. — Вот оно приехало и выбыло. Из сухого места вам воду добудет, вот что значит оно!

— Кто же это такое? — тихо спросил Леонид.

— Кто! — отвлеченно произнес Петр Евсеевич. — Я сам не знаю — кто, я только его обожаю в своем мышлении, потому что я и ты — лишь население. Теперь я всё вижу, Леонид, и замру в надежде. Пускай птицы клюют просо, пускай сторожа в кооперативе на радио глядят, а мыши кушают добро, — государство внезапно нагрянет и туда, а нам надо жить и терпеть.

— Это верно, Петр Евсеевич, всегда до хорошего дотерпишься, когда ничего не трогаешь.

— Вот именно, Леонид! — согласился Петр Евсеевич. — Без государства ты бы молочка от коровы не пил.

— А куда ж оно делось бы? — озаботился Леонид.

— Кто ж его знает, куда! Может, и трава бы не росла.

— А что же было бы?

— Почва, Леонид, главное дело — почва! А почва ведь и есть государственная территория, а территории тогда бы и не имелось! Где ж бы твоей траве поспеть

было? В безвестном месте она не растёт, — ей требуется территория и землеустройство. В африканской Сахаре вон нету государства, и в Ледовитом океане нет, от этого там и не растёт ничего: песок, жара да мертвые льды!

— Позор таким местам! — твердо ответил Леонид и сразу смолк, а потом добавил обыкновенным человеческим голосом: — Приходи к нам, Петр Евсеевич, без тебя нам кого-то не хватает.

— Были бы вы строгими гражданами, тогда бы вам всего хватило, — сказал Петр Евсеевич.

Леонид вспомнил, что воды в Козьме еще нет, и напился из ведра Петра Евсеевича в запас желудка.

После отъезда крестьянина, Петр Евсеевич попробовал подаренного молока и пошел ходить среди города. Он щупал на ходу кирпич домов, гладил заборы, а то, что непостижимо ощущению, благодарно созерцал. Быть может, люди, что творили эти кирпичи и заборы, уже умерли от старости и от истощения труда, но зато от их тела остались кирпичи и доски — предметы, которые составляют сумму и вещество государства. Петр Евсеевич давно открыл для своей радости, что государство — полезное дело погибшего, а также живущего, но трудящегося населения; без производства государства население умирало бы бессмысленно.

В конце пути Петр Евсеевич нечаянно зашел на вокзал, — он не особо доверял железной дороге, слыша оттуда тревожные гудки паровозов. И сразу же Петр Евсеевич возмутился: в зале третьего класса один мальчик топил печку казенными дровами, несмотря на лето.

— Ты что, гадина, топливо жгёшь? — спросил Петр Евсеевич.

Мальчик не обиделся, он привык к своей жизни.

— Мне велели, — сказал он. — Я за это на станции ночую.

Петр Евсеевич не мог подумать, в чем тут дело, отчего летом требуется нагрев печей. Здесь сам мальчик

помог Петру Евсеевичу рассеяться от недоразумения: на станции были залежи гнилых шпал. Чтобы их не вывозить, велено было сжечь в печках помещений, а тепло выпустить в двери.

— Дай мне, дядь, копейки две! — попросил после рассказа мальчик.

Просил он со стыдом, но без уважения к Петру Евсеевичу. Для Петра же Евсеевича дело было не в двух копейках, а в месте, которое занимал этот мальчик в государстве: необходим ли он? Такая мысль уже начала мучить Петра Евсеевича. Мальчик неохотно сообщил ему, что в деревне у него живут мать и сестры-девочки, а едят одну картошку. Мать ему сказала: «Поезжай куда-нибудь, может быть, ты себе жизнь где-нибудь найдешь. Что ж ты будешь с нами страдать — я ведь тебя люблю». Она дала сыну кусок хлеба, который заняла на хуторах, а, должно быть, врет — ходила побираться. Мальчик взял хлеб, вышел на разъезд и залез в пустой вагон. С тех пор он и ездит: был в Ленинграде, в Твери, в Москве и Торжке, а теперь — тут. Нигде ему не дают работы, говорят: в нем силы мало и без него много круглых сирот.

— Что ж ты будешь делать теперь? — спрашивал его Петр Евсеевич. — Тебе надо жить и ожидать, пока государство на тебя оглянется.

— Ждать нельзя, — ответил мальчик. — Скоро зима настанет, я боюсь тогда умереть. Летом и то помирают. Я в Лихославле видел, — один в ящик с сором лег спать и там умер.

— А к матери ты не хочешь ехать?

— Нет. Там есть нечего, сестер много, — они рябые, их мужики замуж не берут.

— Что ж им своевременно оспу не привили? Ведь фельдшера на казенный счет ее прививают?

— Не знаю, — сказал мальчик равнодушно.

— Ты вот не знаешь, — раздраженно заявил Петр Евсеевич, — а вот теперь о тебе заботься! Во всем

виновато твое семейство: государство ведь бесплатно прививает оспу. Привили бы ее твоим сестрам, когда нужно было, и сестры бы замужем давно были, и тебе бы место дома нашлось! А раз вы не хотите жить по государству, — вот и ходите по железным дорогам. Сами вы во всем виноваты, — так пойди матери и скажи! Какие же я тебе две копейки после этого дам? — Никогда не дам! Надо, гражданин, оспу вовремя прививать, чтобы потом не шататься по путям и не ездить бесплатно в поездах!

Мальчик молчал. Петр Евсеевич оставил его одного, не жалея больше виноватого.

Дома он нашел повестку: явиться завтрашний день на биржу труда для очередной перерегистрации, — там Петр Евсеевич состоял безработным по союзу совторгслужащих и любил туда являться, чувствуя себя служащим государству в этом учреждении.

Александр Петров-Агатов

Арестантские встречи

НЕВЫДУМАННАЯ ПОВЕСТЬ

II

Почему в Духовную? И почему в Академию? — спросит читатель. Начинать всё со средней школы было бы нелогично, если бы я даже был начисто лишен способности к восприятию мира через страдания, — позади, повторяю, было двадцать с лишним лет тюрьмы и лагерей, а вдобавок я видел сон... Нет-нет, я не принимаю материалистической трактовки сновидений, будто они — продукт работы головного мозга и ничего больше. Я совершенно убежден, что сны — это общение человека с духами. Сны есть от Бога и от дьявола. Сны могут быть откровением и сны могут быть искушением. Но об этом как-нибудь в следующий раз, в другой, может быть, специальной работе. Но о сне, который имеет прямое отношение к этой повести, я расскажу.

Освободившись в 1967 году ясно и твердо верующим в Бога, я очень хотел поступить в духовную академию. Хотя бы на заочный факультет. Чувствуя себя в силах сдать экстерном экзамены за семинарию, я пришел к ректору Ленинградской духовной академии и выложил ему свое желание.

См. начало в «Г р а н я х» № 82, стр. 99. — Р е д.

— Похвальное желание, — сказал тот, — но, к сожалению, пока неосуществимое. Уполномоченный по делам церкви при совете министров вас не пропустит. Судимых, даже реабилитированных не берем...

В институте имени Сербского мне приснилось, будто я попадаю в политический лагерь Мордовии. И вижу арестантов, разбитых на группки. По три-пять человек. Одна группка сторонится другой. Все смотрят с недоверием друг на друга.

— Вот ты и зачислен в Духовную Академию, — изрёк мне голос во сне...

Сон оказался, как говорят, в руку. Арестанты одиннадцатого лагерного пункта на Явасе, куда я попал, были разбиты на кучки. (Явас находится в нескольких десятках километров от Потьмы, станции прокаженных, расположенной в свою очередь на центральной железнодорожной магистрали в восьми часах езды от Москвы). От каждой такой кучки приходили посланцы и приглашали на кофе с чисто практическими целями: узнать, за что арестован, кто ты есть и услышать новости.

Нас прибыло трое: двоих армян посадили в «столыпин» (пассажирский вагон, разбитый на клетки) в Рязани. Их, совсем еще молодых людей, везли из Армении. Я узнал только, что они оба — инженеры, окончили Ереванский технологический институт, осуждены: один, Ашот Хачатурян — за измену родине — на десять лет, второй, Степан Затвохян — за антисоветскую агитацию — на четыре года. Оба были из интеллигентных семей, изнежены и без конца возмущались в дороге нечеловеческими, как они выражались, порядками, установленными органами КГБ.

Как только мы, переодетые во всё арестантское, вошли в зону, их утащили к себе армяне (тут были представители самых разных национальностей), а меня рвали на части славяне. Разумеется, в первую очередь мне хотелось познакомиться с Андреем Донатовичем

Синявским*, который, как я узнал еще в пересыльной тюрьме, был здесь и о котором я много был наслышан разного. Поэтому, когда один из посланцев, назвавший себя Михаилом Конуховым, сказал: «Мы приглашаем вас в компанию из трех человек: Синявский, инженер-конструктор Дерунов и я», — у меня не было повода для отказа. Но вид Конухова меня несколько смутил. Это был тип уголовника: бегающие глаза, землистое, ничего не выражающее лицо наркомана и исколотые татуировкой руки. «Чтобы вырваться из уголовного лагеря, он, наверное, выкрикивал антисоветские лозунги или написал листовку кровью», — подумал я.

— Андрей Донатович сейчас придет. Присаживайтесь, пожалуйста, — встретил меня молодой человек с небольшой рыжеватой бородкой, похожей по форме на детскую лопатку, мягкими чертами лица и голубыми уставшими глазами, которых, кажется, уже ничем удивить было нельзя: они привыкли ко всему. — Очень вам благодарен, что вы пришли. Я из Москвы. Фамилия моя Дерунов, имя-отчество — Михаил Евгеньевич. Папа мой — профессор. Я инженер-конструктор. Лидер небольшой группки. Демократической, конечно. Семь лет по семидесятой. А вот и Андрей Донатович...

В узкий проход меж двухъярусными койками, между которыми стояла тумбочка с банкой конфет «подушечки» и одна пустая кружка, как-то очень тихо и осторожно, несколько бочком, вошел доброжелательно улыбающийся бородач (борода была длинная, ровная, рыжая) и протянул руку.

— Андрей Донатович Синявский. Извините, что задержался...

— Ну что, господа, — снова заговорил Дерунов, — приступим. Мишель, — обратился он к Конухову, — разливай.

* См. его биографические данные в «Г р а н я х» № 80, стр. 146. — Р е д.

Конухов достал из-под койки самодельный, литра на два, железный сосуд, которому трудно подыскать конкретное название, и наполнил кружку.

— Кофе, чай, по неписанному арестантскому закону, — продолжал Михаил Евгеньевич, — пьется из одной кружки. По два глотка. (Об этом я потом написал стихи:

Идет по кругу кружка с крепким чаем.
Закон железный: только два глотка.
Нас убивают — мы не умираем.
Победа наша верна и близка.)

— Как гостя прошу причаститься первым. А вообще первые два глотка делает тот, кто варит.

Я глотнул. Кофе был горьким от крепости.

— Ого! — только, помнится, и произнес я.

— Андрей Донатович любит крепкий, — как бы оправдываясь, сказал Конухов.

Я понял, что Андрей Донатович в этой компании (а в дальнейшем убедился, что не только в этой) своеобразный божок: относились к нему с почтением и предупредительностью.

Разговор не особенно клеился, и я первые минуты почти откровенно разглядывал Синявского. Один его глаз несколько косил, зубы все были желтые и, как мне показалось, крошащиеся; лицо, изможденное глубокими, не по возрасту (ему было сорок пять лет) морщинами, — умное, одухотворенное. Говорил Андрей Донатович мало, вёл себя очень скромно. Однако заметил:

— Когда я приехал, — мне буквально не было покоя от «смотрин». Смотрели, как на невесту, выставленную напоказ жениху и близким.

— Нашумевшее имя, — не зная к чему, бухнул я.

— Нашумевшее — да. Но незаслуженно. Я-то сам понимаю, что это не та честная слава, которая приходит к настоящему писателю. Меня волна выбросила, а волны, как известно, выбрасывают всё.

Я не почувствовал рисовки в этих словах Синявского и мне трезвая его самооценка понравилась.

Думаю, что мы разошлись тогда, не составив сразу твердого представления друг о друге, но зерно симпатии и доверия к Андрею Донатовичу в сердце мое запало.

В этот же день я побывал еще в одной компании.

В курилке, бывшей одновременно и раздевалкой, собрались: Николай Федорович Драгош*, бывший директор средней школы в Молдавии, тридцати с чем-то лет, лидер либеральной организации, корректный и производивший впечатление интеллигентного человека; Вячеслав Айдов* — инженер-технолог по образованию, тяготеющий к христианству; марксист Сергей Хахаев* из Ленинграда, с двумя высшими образованиями, из группы «коммунаров»; и — в противоположность им троим, людям общительным и непосредственным, — Владимир Сергеевич Гацкевич**, чопорный, обидчивый, с претензией на последнего из могикан той русской интеллигенции, которая, по его мнению, составляла в царской России интеллектуальную элиту, хотя, судя по фамилии и духу, я не уверен, что он русский.

Невысокого роста, с одной штаниной выше другой, он медленно, короткими глотками, как и подобает гурману, тянул брагу, которой нас потчевал Николай Федорович. Кружка снова была одна (в этом случае из-за отсутствия посуды), и его торопили:

— Вы не в ресторане и не на банкете, Владимир Сергеевич. Не тяните...

— Не лишайте удовольствия посмаковать, господа. Великолепный, божественный напиток! — растягивал слова Гацкевич.

* См. биографические данные Н. Ф. Драгоша, В. Айдова, С. Хахаева в «Гр а н я х» № 80, соответственно на стр. стр.: 160 и 159. — Р е д.

** См. очерк В. Осипова «Площадь Маяковского, статья 70-ая», стр. 137, в «Гр а н я х» № 80. — Р е д.

Это была моя первая и последняя встреча с Владимиром Сергеевичем. Да и не только у меня. У Драгоша, Айдова, Хахаева и у многих других жизненные пути с Гацкевичем разошлись. Он никому не причинил зла и безусловно был порядочным человеком. Беда его, вероятно, была вот в чем: он был чрезмерно стерилен. Не без эрудиции, разбирающийся в искусстве, он в годы войны попал в плен к немцам, каким-то образом перекочевал в Соединенные Штаты, был репортером и диктором на радиостанции «Голос Америки», имел какое-то отношение к НТС, вернулся по собственной инициативе на родину. Работал после возвращения инспектором в Смоленском областном отделе культуры, пока его не арестовали: всех «возвращенцев» рано или поздно ждала тюрьма. И, разумеется, десять лет. Такова железная логика советской действительности.

С Сергеем Хахаевым я тоже старался больше не встречаться. Что общего могло быть у меня с материалистом, если даже он и состоял сплошь из одних образований? Помнится, Короленко великолепно сказал об этих людях: вот быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой. Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать, его охотно принимают франты, которым нравится всё новое. Все эти правдоискатели больших дорог — великие самолюбцы. И лентяи порядочные.

К счастью, многие материалисты, попав в тюрьму, меняли свои взгляды. Одним из таких был Айдов — сын крупного партийного работника Молдавии. Вячеслав охотился за Ветхим Заветом, Евангелием, искал встреч то с иеговистами, то с православными христианами. Честный, стремящийся быть политическим по большому счету, он то и дело вступал в конфликт с администрацией, демонстративно не посещал политзанятий и стоически переносил наказания, выпадавшие в связи с этим на его долю: его лишали то ларька, то бандерлей.

С Николаем Федоровичем Драгошем судьба связала меня более крепко и о нем я расскажу ниже.

...Назавтра, после возвращения с работы (а направили меня на самую тяжелую работу — катать баланы), я был вызван в штаб, в кабинет начальника оперативного отдела. За столом сидел майор в роговых очках; поодаль, у стены, — подполковник. Оба — в кавалерийской форме, только что без шпор: советским жандармам бряцание ни к чему, они ходят неслышно.

— Пригласили вас, Александр Александрович, познакомиться. Садитесь, пожалуйста. Я начальник КГБ Управления. Фамилия моя — Постников. А это, — он указал кивком лысеющей головы на подполковника, — заместитель.

Фамилии я не расслышал. Да имеет ли это значение? Выше я уже отметил, что у чекистов лица нет. Нет у них и фамилий. Они, как псы, имеют только клички и переходят от одного хозяина к другому.

— Как доехали? Как устроились?

Перед каждым из них лежал лист бумаги.

— Я бы хотел, чтобы вы не утруждали себя вежливыми вопросами. Разве может кто усомниться в этике и культуре наших комитетчиков? По существу, пожалуйста.

— Вы чем-нибудь взволнованы? — пуская облако дыма, проверещал Постников.

Пришлось отвечать на вопросы. Это были, главным образом, вопросы любопытствующих: каким тиражом вышли мои книги за рубежом, сколько денег у меня на счету, в каких журналах я печатался в Советском Союзе? Попросили также изложить свое политическое и философское кредо.

Я воспользовался случаем и нарисовал им картину близкой гибели советского режима.

— Вы только не говорите об этом никому из заключенных. Имейте в виду, что мы всё равно узнаем,

что́ и кому вы говорили, и это повлечет для вас новые неприятности.

И опять, как в Лефортове:

— К чему они вам? Кстати, я могу вам сказать, с кем вы встречались вчера и сегодня и о чем говорили...

И он повторил почти весь разговор в обеих компаниях.

— Вот видите, — пристально и как бы назидательно посмотрев мне в глаза, заключил Постников, — мы всё знаем и будем знать.

(В ближайшие дни я убедился, что лагерь и впрямь кишел осведомителями. Именно это и создавало обстановку нервозности, недоверия и замыкания людей в маленькие кучки. Все боялись друг друга. Мнительность доходила до шизофренических масштабов; часто предупреждали друг друга:

— С этим будьте осторожны.

— Лишнего лучше не говорить.

— Он неплохой человек, но работает в службе. А в службу просто так не берут.

— Этот в бандеролях всё время получает сигареты и кофе.)

В конце беседы я попросил Постникова вернуть мне все те рукописи, что отобрали у меня при входе в зону. Рукописи эти были уже проверены в комитете госбезопасности в Москве и об этом находилось специальное постановление в тюремном деле.

— Москва — Москвой, а мы сами по себе... Посмотрим и вернем. Не волнуйтесь. Если какие-нибудь неприятности будут, — давайте знать, мы вас на одну грань со всеми не ставим. Тем более, с военными преступниками...

— Кстати, — заметил я, — почему вы не выпустите их? Ведь они безвыходно сидят уже по двадцать с лишним лет. Ходячие трупы...

— Э, Александр Александрович, вы не знаете, ка-

кие это страшные люди. Их нельзя выпускать. Они в крови по горло...

А спустя несколько месяцев один из этих «страшных» людей признался мне в своей осведомительной деятельности и откровенничал:

— Вы знаете, что мне Постников сказал, вербуя меня? «Вы, говорит, нам не страшны. Нам страшны те... ученые... белоручки. Те, что не по двадцать пять, а по четыре да семь имеют. Мыслители и говоруны нам эти страшны. А вы — хлопцы наши».

Это были не только слова.

Вся обслуга в политических лагерях сплошь состоит из бывших полицейских и бериевцев. Они — в советах коллективов, в надёжных подручных коммунистической партии.

...Еще через день ко мне пришли Нагорный^{9*} и Ивойлов^{**}. Это были первые ласточки из той военно-политической организации социал-христиан, о которой в Лефортове рассказывал мне Юрий Юханович Садо. Все первые три дня я расспрашивал о них, собрал кое-какие сведения, но сам подойти стеснялся. Оба молодые, какие-то светлые, излучающие тепло, они принесли в мой угол (а койка моя была в углу, в конце барака) дыхание чего-то свежего и чистого.

— Валерий Иванович...

— Владимир Федорович...

Первый — голубоглазый, с очень тонкими, как бы прозрачными, словно родник, чертами лица — был Нагорный. Второй — замкнутей, тише, посумрачней — Ивойлов.

— Мы пришли, — не помню уж, кто начал из них, — пригласить вас к нам, петербуржцам. Надеемся, вы...

* Биографии людей, фамилии которых помечены номерами, см. в «Приложении». — Р е д.

** См. биографические данные в «Г р а н я х» № 80, стр. 143. — Р е д.

— Да, да, — перебил я, — слышал о вас и буду считать за честь для себя... Во сколько вам будет удобнее?

Мы сговорились на семь вечера.

Собрались из них все, кто был в этой зоне. Я говорю «этой», потому что был еще семнадцатый лагпункт. Часть группы находилась там. Трое — востоковед Вячеслав Михайлович Платонов*, литературовед Евгений Александрович Вагин* и бывший директор школы — очень интересный, по слухам, как личность — Леонид Иванович Бородин*, — бывший в Саранске на так называемой профилактике: ежегодно туда привозили на два месяца по три-четыре человека на предмет переубеждения.

Лидеры Игорь Вячеславович Огурцов** и Михаил Юханович Садо** отбывали срок во Владимире, в тюрьме.

...За большим столом, специально откуда-то принесенным, — семь человек. Кроме Нагорного и Ивойлова, тут были Борис Анатольевич Аверечкин***, внук одного из первых советских адмиралов, с замкнутым лицом, обрамленным густой темно-огненной бородой; очень милый, совсем еще мальчик, с нежными щеками и красивыми карими глазами, Михаил Борисович Коносов****, поэт, признавшийся, что было бы лучше обращаться к нему не только по имени, но и по отчеству; видимо, очень добрый и открытый, но старающийся казаться ушедшим в себя и проницательным, — Георгий Николаевич Бочеваров*****, историк; затем в возрасте тридцати

* См. биографические данные В. М. Платонова, Е. А. Вагина и Л. И. Бородина в «Г р а н я х» № 80, соответственно на стр. стр.: 145, 144 и 142. — Р е д.

** См. там же на стр. стр.: 143 и 144 — Р е д.

*** См. биографические данные Аверечкина (фамилия в первый раз дана была ошибочно — Аверочкин) там же, стр. 145. — Р е д.



трех-тридцати пяти лет, с татуировкой на правой руке, флегматичный, с вытянутым холеным, но рано посеревшим лицом, — Юрий Петрович Баранов¹⁰, инженер. Был тут и очень похожий на царя Николая Второго, с подслеповатыми, слезящимися глазами, человек, фамилию которого мне не назвали. И, наконец, Сударев¹¹: невысокого роста, о чем-то все время сосредоточенно думающий и, как я позже о нем узнал, мечтающий посвятить себя писательской деятельности.

Так же, как и при встрече с Синявским, по столу пошла кружка с кофе. Вернее, две кружки. Одна вдогонку другой. С первой же минуты я оказался на положении «подследственного»: в каком году родился? когда судился? сколько раз? образование? национальность? вероисповедание? и т. д. В дальнейшем я узнал, что анкета играла в организации далеко не последнюю роль. У них были солидные архивы и личные дела, что при разгроме организации сыграло отрицательную роль. Земляки мои при первой встрече сами раскрываться явно не хотели. После «допроса» они попросили меня высказать свое мнение об их организации, поделиться своими прогнозами на будущее, почитать стихи, за которые я арестован.

Я сказал, разумеется, то, что думал:

— Появление вашей организации в стране — событие чрезвычайное. Христианство, православие, конституционная монархия — это, на мой взгляд, единственное, на чем может стоять и быть великой Россия. То, к чему пришли вы, молодые люди, в обстановке крошечной тьмы тенденциозности и духовной кастрации, — делает вам не только честь, но и свидетельствует о больших духовных и творческих возможностях каждого из вас. Однако я убежден, что путем заговоров, мя-

**** См. биографические данные М. Б. Коносова, Г. Н. Бочварова в «Г р а н я х» № 82, соответственно на стр. стр.: 120 и 121.
— Р е д.

тежей и государственных переворотов в советской России ничего изменить нельзя. Поэтому все ваше дело с первой минуты было обречено на провал. Но ваше *появление* — это, повторяю, свидетельство того, что нация жива и Россия не погибла. Я всем вам кланяюсь в ноги.

Аплодисментов не было, одобряющих взглядов — тоже, но лёд сломался...

— А как же вы мыслите себе освобождение страны от коммунизма? — спросил Ивойлов.

— Бездна должна отстрадать, — ответил я. — Мир стоит на грани неотвратимой войны, которая, по-видимому, начнется на арабском востоке...

Начался спор. Страсти разгорались с каждой минутой, и Бог знает, сколько бы это еще продолжалось, если бы я не воспользовался правом гостя в благовоспитанной компании и не стал читать стихов.

Стихи понравились. Бочеваров, провожая меня, расчувствовался:

— Я должен попросить у вас извинения. Вы мне вначале не понравились и я вас даже не принял. Но теперь... будем друзьями. Хотите?

Я обнял Георгия Николаевича. Болгарин, сын известного революционера, именем которого названа одна из улиц Софии, он мне чем-то напоминал тургеневского Инсарова. С той же страстностью Георгий Николаевич шел приступом на марксизм и не мог себе представить Россию без царя и православия.

Мы попрощались и разошлись до утра.

III

Неразлучные друзья Нагорный и Ивойлов, а иногда и Баранов, по вечерам заходили ко мне всё чаще. Юрий Петрович, как правило, безмолвствовал, а Валерий Иванович и Владимир Федорович без конца задавали вопросы, связанные с христианством, толкованием Еванге-

лия. Чувствовалось, что они стремятся познать Истину. Я советовал обращаться непосредственно к Богу, совершенно уверенный в том, что только через молитву и откровения может darse свет познания.

«Книжникам», только что закончившим университет, с этим смириться было трудно.

— А как же разум? — спрашивал Валерий Иванович.

Я цитировал Тертуллиана, утверждавшего, что после Христа не нужна никакая любознательность, после Евангелия не нужно никакого исследования. Вспоминал Лютера. Достоинство веры заключалось, по Лютеру, в том, что она свертывает шею разуму и душит зверя, который иначе мог бы задушить целый мир со всеми его творениями. По его мнению, разум — первая потаскуха дьявола.

Значило ли это, что я был против образования?

Конечно, нет! Но образование — образованию рознь. И в этом смысле слова Ньютона о том, что только большие знания приближают к Богу, а малые отдаляют от Него, не вызывали у меня никакого сомнения. Так и только так. Но, к сожалению, знания, даваемые советскими школами и университетами, ничтожны. И, самое главное, тенденциозны, фальсифицированы. Они не развивают, а атрофируют мысль человека о Боге, к окончанию же высшего образования вконец убивают в человеке человека. Из высших учебных заведений, как и из средних, зачастую выходят не люди, не *человеки*, а нафаршированные, подобно колбасам, индивиды, которых в этакое «съедобном виде» пожирает государственная машина.

— Что же касается Евангелия и Ветхого Завета, знаете, — продолжал я, — как истинно верующие читают эти книги? Мне рассказывали, что один монах, прежде чем прочесть два-три стиха из Евангелия, по нескольку дней постился, сутками простаивал на коленях и только потом, тоже на коленях, раскрывал Святое

Благовествование. У Бога, одного Бога просите познаний и разрешения непонятных вопросов. Господь всегда отзовется, если человек обращается к Нему с верой.

И я рассказал моим новым друзьям случай, происшедший со мной много лет назад на Колыме. Тогда я находился в спецзоне, только что пришел к вере в Бога и в знак этого носил на шее самодельный крест. Как-то вечером арестанты попросили меня почитать стихи. Я удовлетворил их просьбу, а на утро, по чьему-то доносу, оказался в изоляторе. Надзиратель предварительно снял с меня крест. Отчаянию моему не было границ. Снятие с меня креста я почему-то связал с неприятием Господом моей веры в Него.

Оказавшись один в железном ледяном гробу (изолятор не отапливался, а на улице было 50-55° ниже нуля), я укрылся бушлатом и, рыдая, стал просить у Бога возвращения отобранного чекистами креста.

Я не могу точно сказать, как долго продолжалась моя молитва, но камера вдруг наполнилась светом и передо мной явилась Голгофа с распятым на кресте Христом.

От неожиданности я закричал от страха, но сразу успокоился. На сердце сошла благодать. Я всё понял — Господь услышал мою молитву и ответил: не проси об отобранном кресте. Я с тобой. Веры отнять нельзя. И Распятия, живущего в сердце верующего, — вовек не отнять.

Вскоре Нагорный с Ивойловым познакомили меня с братьями Машковыми. Один из них, помоложе, заканчивал десятый класс школы, что функционировала, — да, да, именно не учила, не работала, а функционировала, — в лагере. Ему было лет двадцать пять-двадцать шесть и ничем особенным он не выделялся: типично округленное славянское лицо с курносым носом и большими, как бы расширенными от удивления серыми глазами. Юрий Машков был иным. Лицо елейное, рыжая,

торчащая во все стороны борода (от бород, особенно рыжих, в лагере воздух казался проржавленным). А глаза — бесцветные щёлочки.

— Господь сподобил встретиться. Вот, присаживайтесь на это местечко...

Присел.

С первых же минут понял, что мы с Машковым разные и Бог у нас разный. А когда Нагорный очень осторожно попытался поддержать меня в моем отрицательном отношении к советской церкви, Машков резко одернул его:

— Уже переметнул в другой лагерь. Смотри, Валерий, Господь възыщет.

И стал доказывать мне, что патриарх Алексий заслуживает причисления к лику святых...

— А войны не будет. Или вам не известно Фатимское чудо? Сама Богородица сказала, что войны не будет. Всё остальное — от лукавого.

Утром следующего дня, встретившись у входа в столовую, Машков неохотно кивнул мне головой, не проронив приветствия, а потом и вовсе перестал замечать меня. Я поинтересовался: за что сидят Машковы? За попытку перехода границы. Жена Машкова сидела тоже. Ее — беременную — Юрий учил лазать по-пластунски, чтобы в случае необходимости уйти от пограничников.

Со временем Ивойлов и Нагорный стали заходить ко мне реже, но когда им объявили, что они уезжают в Саранск на «профилактику» вместо возвращающихся оттуда Платонова, Вагина и Бородина, — пришли проститься, на глазах у обоих были слезы. Заплакал и я.

— Не обижайте меня и возьмите это на дорогу.

И я передал Нагорному пакет со сдобными сухарями, сгущенное молоко и всё, что было в моем запасе, образовавшемся во время Рождественского поста в Лефортове.

А на следующий день я уже знакомился с Вагиным.

Платонова и Бородина, к сожалению, провезли мимо одиннадцатого, — прямо на семнадцатый лагпункт.

Евгений Александрович произвел на меня самое приятное впечатление. Высокий, стройный, собранный, даже в арестантской робе он весь дышал благородством, умом, изяществом манер. Можно ли дышать изяществом манер? Судя по Вагину, — можно.

В компании Синявского, всё того же Конухова и Дерунова я провел с Евгением Александровичем не менее двух часов. Говорили о литературе, искусстве, политике. Эрудицию, высокий интеллект Вагина, при всей его скромности, не заметить было нельзя. Чувствовалось, что этот человек не выбирал себе мировоззрение, что стало модным в последнее время, а *вырабатывал* его в себе. Впервые от литературоведа (а Евгений Александрович был литературоведом по высокому счету и занимался в основном Достоевским) услышал я верную оценку Горького:

— Ужасный язык, — сказал Вагин. — Разве русский писатель может говорить таким языком? И потом... злой он, этот Горький.

И мне сразу вспомнился Толстой. Лев Николаевич как-то заметил, что не мог относиться к Горькому искренне. Горький и для него был злым человеком, похожим на семинариста, которого насильно постригли в монахи. По словам Толстого, у Горького был утиный нос, такой, какие бывают только у несчастных людей. И женщины не любили его, говорил он, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку.

Я почувствовал, что Евгений Александрович — очень, очень русский, но как, впрочем, и все члены их тайной организации излишне ортодоксален и традиционен.

Любящий и понимающий поэзию, искусство, он и слушать не хотел о том, что Лермонтов и Пушкин, к примеру, принесли России больше вреда, чем пользы. Он, как, кстати, и Синявский, видел в них только ху-

дожников. А я смотрел на них, в первую очередь, как на сеятелей. Поэт, написавший «Гаврилиаду», проповедовавший в определенный период материализм, не мог быть, с моей точки зрения, добрым сеятелем. Я не мог принять Пушкина как человека, на счету которого значится более двухсот любовниц и десятки связанных с этим дуэлей. Вагин закрывал на это глаза и где-то в своем отношении к Пушкину смыкался с Белинским, утверждавшим, что поэт — шаловливое дитя природы, которому нужно всё прощать.

— Пушкин — величайший русский патриот, — несколько разгоряченно, чтоб опрокинуть мои критические замечания по адресу безусловно гениального поэта России, попытался подвести черту Евгений Александрович.

— Патриот? — переспросил я. Тут я дал волю своим чувствам. — По-разному все понимают патриотизм. Для меня истинный патриотизм неотделим от христианства. Помните «Кавказского пленника»? Александр Сергеевич написал:

...Тебя я воспою, герой,
О, Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена...

.
Смирись, Кавказ, — идет Ермолов.

— А вы помните, Евгений Александрович, что по этому поводу написал Вяземский Тургеневу? И, не давая Вагину открыть рта, привел запомнившиеся мне слова: мне жаль, что Пушкин окровавил стихи своей повести. Что за герои Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он, как черная зараза, губил, ничтожил племена? От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Поэзия — не союзница палачей.

Не сошлись мы с Вагиным и по еврейскому вопросу. Он считал, что все несчастье в России от евреев. Я был уверен, что от материализма, который отчасти действительно укрепился через неверующих евреев. Но разве только одних евреев? И разве русские и другие народы не ответственны за потерю веры? И разве еврей-художник Левитан и поэт Пастернак, исповедующие христианство, не более русские, чем гниды Николай Грибачев и Михаил Шолохов, ходящие в русских?

Минут за десять до отбоя Конухов нас предупредил: — Господа, надо расходиться.

Это обращение «господа» в его устах звучало не столь дразливо, сколько карикатурно. Но что делать: Михаил Конухов хотел говорить чужим языком. Да разве только один он? Миллионы людей на планете изъяснялись чужими словами, и каждого из них можно узнать по слогу. Со своим языком умирают, к сожалению, лишь животные. И больше других — птицы.

Я попросил Евгения Александровича в оставшиеся минуты рассказать о «профилактике» в Саранске. Что это такое?

— Комедия, — улыбнулся Вагин. — Приходят местные писатели, другие мордовские знаменитости, разумеется, по вызову КГБ, и стараются переубедить. Порой даже в ресторан водят, по городу в легковой машине провозят, в магазины заводят. Смотрите, мол, как культурно и красиво живут советские люди. Хлеб есть, киноленты крутятся, вход в ресторан свободный. Джаз играет. И коньяк даже порой бывает. Чего же боле?

Платонов попросил, чтоб его сводили в церковь. Хотел исповедоваться и причаститься.

Полковник Арбузов (это заместитель начальника Мордовского КГБ) просьбой Вячеслава Михайловича в первую минуту был озадачен. Потом лихо улыбнулся и твердо сказал:

— Сводим! Непременно сводим!

Но так, конечно, и не сводили.

— Чекисту соврать, что вору украсть, а фрайеру... — изрек Конухов.

На этот раз Мишель был на высоте. И говорил явно своим языком.

...Еврейский вопрос стоял остро не только на арабском востоке, в Ленинграде, Ташкенте, Москве, в учебных заведениях и в Лефортове, но и в политическом лагере тоже. Познакомившись с сионистом Соломоном Борисовичем Дольником¹², семидесятилетним крепышом, я как-то предложил Андрею Донатовичу зайти, по настоятельной просьбе Дольника, к нему в гости.

— Я — не против. Соломон Борисович — милый человек... Но я вас прошу иметь в виду, Александр Александрович, что здесь к евреям относятся особенно нетерпимо.

В лагере даже ходил слух, что Андрей Донатович — еврей. Впрочем, евреем считали не только Синявского. Увидев мои добрые отношения с Дольником, тоже стали говорить:

— Жид! Какой он Петров? Какой-нибудь — Фрайерман или Зильберштейн. Все, сволочи, русские фамилии приобрели.

Ненависть к коммунистам тоже отождествляется с евреями. «Ленин, Хрущев, Брежнев, Косыгин — всё это жида», — слышалось то там, то тут... А некоторые евреи лезли вон из кожи, чтоб только доказать, что они русские. Адвокат Гендлер¹³, например, прибывший из Ленинграда за распространение антисоветской литературы, обходил Дольника, чтоб только его — Гендлера — не посчитали за еврея. При знакомстве не забывал упомянуть:

— Я — русский. Правда, мама была еврейкой, но я лично — русский.

Заместитель начальника лагеря по оперативной части, капитан Иоффе, наказывая арестантов, старался быть особенно лютым с теми, кто не был антисемитом,

чтоб только — не дай Господь! — кто не подумал, что он еврей.

Дольник в этом смысле был настоящим евреем. Он считал за честь принадлежать к своей нации, бескомпромиссно относился к предателям своего народа типа Эренбурга и Маршака. Жил мечтой о переезде в Израиль, накопил уйму печатного материала об убийцах евреев, об антисемитизме в целом, отлично знал историю своего народа. Это вызвало во мне уважение к Дольнику и я с ним, несмотря на разность мировоззрений, был в приятельских отношениях.

К тому же Соломон Борисович был человеком добрым и в тяжелые минуты всегда приходил на помощь:

— У вас нет белья? Нате. — И он совал новую робу.

— Только что получил посылку. Дайте пустой стакан... Я вас хочу угостить...

Он не спал ночами, узнав о болезни своей жены. Разыскивал среди арестантов земляков, родственники которых могли бы посетить Ирину Александровну (так звали его жену) в больнице.

— Ничего не надо. Чтоб только посетили ее. Это, знаете, очень важно. Очень...

К сожалению, не о всех русских я могу сказать то, что говорю о Соломоне Борисовиче. Но дело, разумеется, не в личных качествах того или иного человека.

Письмо Антонова* жене Даниэля, открытый звериный антисемитизм лефортовского арестанта Ершина и в политическом лагере — это уже вопрос.

Я написал открытое письмо петербуржцам, стараясь разъяснить некоторым из них (подчеркиваю — некоторым из них, потому что не все были антисемитами) несовместимость христианства с антисемитизмом. Да, ев-

* См. его биографические данные в «Гр а н я х» № 82, стр. 124 и о письме Антонова Л. Даниэль — на стр. 114, там же. — Р е д.

реи до определенного мгновения, пока не воскликнут «Благословен Грядущий на небесах!», обречены на гонения за отступничество от Бога, за неприятие Христа — Единственного Спасителя, — но это не значит, что люди должны гнать и тем более убивать евреев. Все заповеди Христа, в том числе и *не убий и люби ближнего своего, как самого себя*, не нуждаются ни в комментариях, ни в разграничениях по национальному признаку. Гонение на евреев уже дорого стоит и будет еще дороже стоить миру. Ибо Господь, помимо всего, еще и идеальная мера: какою мерою мерите, — такою отмерится и вам.

В этом был смысл моего письма.

...За пасхальным столом были все петербуржцы без исключения из находящихся на одиннадцатом. Пригласили и нас с Андреем Донатовичем. Кроме кофе и конфет, на столе ничего другого не было.

Евгений Александрович, как бы возглавлявший стол, трижды произнес «Христос Воскрес!»

Все встали, осенили себя крестным знаменем и ответили:

— Воистину воскрес!

За окном была весна. Оттаивала земля. Не могли не оттаивать и сердца. Я посмотрел на лица собравшихся. Все они были торжественны, по ним скользили лучи солнца.

Вагин произнес короткую речь. Смысл ее был в том, что собравшиеся за столом — соль России. И он верит в возрождение страны. В возрождение нации. И в людей, сидящих за столом, тоже верит.

Не знаю почему, но мне хотелось плакать. Я по-прежнему любил Вагина и всех находящихся здесь, ни на минуту не сомневался в том, что и Евгению Александровичу, и Николаю Викторовичу, и Георгию Николаевичу, и Владимиру Федоровичу — всем сидящим за столом суждено строить новую Россию, но всё равно — мне хотелось плакать.

Царь Соломон, узнав о том, как плакал Китоврас при выходе из церкви счастливой молодой четы, спросил:

— Почему плакал?

— Видел, что завтра один из них погибнет, — ответил мудрец и провидец.

Я — не пророк и не знаю судеб людей. Но я знал, уже тогда за столом, что это — лучшие люди сегодняшней России. Еще не соль земли. За пасхальный стол собрались — братья.

«Они *могут* стать солью, — думал я, — если много пострадают, победят в себе самих себя и научатся любить».

IV

В двенадцать часов дня Андрей Донатович, Николай Викторович Иванов, с которым я познакомился у петербуржцев в первый день Пасхи, и я оставили компанию, предварительно поставив ее в известность, что в этот час мы приглашены «пятидесятниками» Дмитрием Зарубиным и Василием Патрушевым, которых все в лагере знали и уважали.

Даже отпетые подлецы относились к этим двум братьям по вере если не с почтением, то, во всяком случае, с уверенностью, что от них никакого зла или подвоха ждать не приходится. Зарубин и Патрушев никого не осуждали, всем буквально уступали дорогу в широком смысле этих слов, если могли кому-нибудь чем-нибудь помочь, — делали это тихо и незаметно, ни у кого ничего не просили и отдавали последнее. Ни одного грубого слова, даже по адресу чекистов, никто от них никогда не слышал. Если что-нибудь обещали, — непременно выполняли. Точность и пунктуальность их были поразительны. Пасмурными или неопрятными их никогда не видели.

Дмитрий, несмотря на свои сорок с лишним лет, выглядел юношей. Ни морщинки. На лице — непосред-

ственность и чистота ребенка. А сидел он уже двадцать лет, будучи осужденным не один раз. И всё — за веру. Точнее: за распространение слова Божия, но распространяться об этом не любил. Ходил по земле легко и уверенно. Правда, чуточку прихрамывая: в сибирских лагерях обморозил ногу и в связи с этим перенес операцию ступни.

Вася арестован впервые и вот-вот должен был освободиться, заканчивая пять лет. Тоже, разумеется, за свою верность религиозным убеждениям. На Дальнем Востоке, в Находке, его ждали жена и уйма ребятишек. Кажется, у него было семь или восемь детей. Жилось семье, конечно, очень нелегко, но Вася старался об этом не говорить.

Зарубин совсем не имел образования. Патрушев — невысокого роста, плотно сбитый, с добрым русским лицом, заканчивал в лагере десять классов.

Мы опоздали не менее, чем на полчаса, и готовились извиняться, объясняться и так далее.

— Что вы! Что вы! — даже забеспокоился Дмитрий. — Когда смогли, — тогда и пришли. Какой может быть разговор! Проходите, пожалуйста. — И перед нами открылась дверь.

Удивительно: в секции (каждый барак был разбит на четыре секции) никого не было. Я отнес это за счет весеннего дня: арестанты в выходной день хотели погреться на солнышке. В действительности, как выяснилось позже, дело обстояло иначе. Арестанты, зная, что к Дмитрию придут гости, не сговариваясь, оставили помещение — пусть, мол, поговорят свободно, помолятся.

...На импровизированном столе из табуреток, на белоснежных полотенцах, заменяющих скатерть, был праздник. Белый хлеб, рыбные консервы, колбаса, топленое масло, мед, шоколад и другие безусловные для лагеря яства.

— О! — только и произнесли мы.

— Так мы же с Васей вскоре после Рождества по-

лучили по посылке. Вот и оставили к Воскресению Христову, — всё объяснил Зарубин. — Давайте возблагодарим за всё Бога и попросим благословения на праздничную трапезу во славу Творца нашего.

Все скрестили руки, и Дмитрий начал молиться вслух. Не знаю, как у других, но мое сердце было в эти минуты переполнено радостью. Легко и светло ему было, хотя я не мог не чувствовать, что сердцу тесно было в груди. Когда сели, поцеловав друг друга, я у каждого заметил на глазах слезы. У Николая Викторовича они даже блестели в черной великолепной раздвоенной бороде, точно утренние росинки. Смахнул ручеек со щеки и Андрей Донатович.

— Кофе мы тоже сварили, — улыбнулся Зарубин. — Сами мы с Васей не пьем, но вы, коли любите, пожалуйста. И какао сколько угодно.

Разумеется, мы не только ели и пили, — хозяева без конца потчевали нас, — но и говорили: о Боге, о христианстве, о вере.

Здесь, за столом, я узнал, что Синявский с женой крестились незадолго до его ареста, что Андрей Донатович глубоко знает христианство. Тонкий и глубокий ум писателя, эрудиция были очевидны. И Россию он любил. Клевета, пущенная о нем злыми языками, будто он ненавидит русский народ и культуру его, — не имели под собой никакой почвы, кроме злопыхательства. Этот очень мягкий человек вообще не мог кого-нибудь или что-нибудь ненавидеть. Он соткан был из любви, милосердия и кротости.

Да, он видел, что Россия гибнет, да, он понимал, что опустошается душа нации, и писал об этом. Но кто сказал, что любить — это значит черное называть белым? Любовь и ложь, любовь и продувной авантюризм — несовместимы. И истинные гражданственность и патриотизм к пустозвонству тоже не имеют никакого отношения. Самые страшные враги нации — писатели и говоруны, если они пишут и говорят не то, что чувствуют,

если они продают свои способности и талант. Царскому правительству и в голову не приходило сажать Чехова за решетку, а вот что написал Антон Павлович о России того периода (цитирую по памяти):

Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме. А любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостом.

Для советской власти Чехов — друг, великий демократ, правдолюбец. Синявский, осмелившийся подсказать русским путь спасения, — дегенерат и мракобес.

Очаровал меня Иванов. Это — неисчерпаемый кладезь знаний. Оказывается, он долгое время работает над диссертацией по православию. Всё, что связано с верой на Руси, с древним и нынешним искусством, он знает до мельчайших подробностей. Дворянский отпрыск, потомок Пуцциных, Николай Викторович впитал в себя с младенческим молоком любовь к России и, конечно, не мыслил себя без духа её, истории и лучших традиций отечества.

Весь вечер я снова и снова размышлял над судьбой России, отечества своего. Разговор с Синявским и Ивановым рождал поток мыслей.

Я снова и снова анализировал историю православия, искал причины, приведшие Русь — Богоносную Державу — к революции и, как следствие ее, к бездне материализма, к духовной кастрации. Вспоминал протопопа Аввакума и его слова о том, что Россия (за отступничество от веры во времена раскола) отдана Богом на время дьяволу и что ждут ее великие испытания и страдания.

Я давно уже понимал, что, начиная с Петра, православная Церковь потеряла самостоятельность и, став под контроль Синода, дошла до того, что превратилась в филиал органов государственной безопасности. Её

хозяевами стали атеистствующие разбойники из Совета министров. Не понимающему этого Машкову я не удивлялся. Странно было, что и Иванов, и Вагин, и Ивойлов не хотели понять, что коммунисты не упали с неба. Их родил царь Петр и императрица Екатерина, их пестовало дворянство, духовенство и купечество. С ними заигрывала интеллигенция и, наконец, их утвердил народ.

Верить в Бога — это не значит только носить крест и ходить по праздникам в храм. И последние триста, даже более, лет до Октябрьской революции Россия верила именно так. Это была традиция, этикет, хотя страна и заливалась колокольным звоном. Ложь, разврат, тяга к роскоши и богатству пронизали почти всю знать. По земле ходили крашенные гробы, наполненные смрадом, а не православные христиане, для которых нет и не может быть разницы между простым безграмотным мужиком и высокопоставленным дворянином. А несчастный князь Вяземский — потомок известных Вяземских, попав в советскую тюрьму, протестовал, как мне точно известно, против того, что его посадили вместе с бывшим колхозником в одну камеру. Может ли такое дворянство рассчитывать на реставрацию старого — назовем его так — строя? А Вагин и Иванов, правильно поняв единственно приемлемую для России идею православия и монархии, жили духом XVIII-XIX столетий. Это был уже отравленный дух. Стало быть, отравлены были частично и эти лучшие из людей современной России, появившиеся в ней чудом, по-видимому, для великих дел в будущем.

Но им необходимо было переплавиться, чтоб не метаться в дальнейшем, как знаменитый философ Владимир Соловьев и блестящий поэт Вячеслав Иванов. Задышающиеся в контролируемом и направляемом жандармерией православии, они — безусловно незаурядные личности — убежали в католицизм. Я говорю не о том православии, которое принял князь Владимир, крестив Русь, а о том, которое, отступив от веры, насадили жан-

дармы и которое привело отечество на грань гибели. Да, и Иванову, и Вагину (об Огурцове и Садо речь пойдет ниже), и Ивойлову, Аверечкину, и Коносову, и Веретеннову¹⁴ нужно было переплавиться. Они были не дерьмом, сгорающим в печи, а золотом. И золоту этому надо было очиститься от пыльных налетов и тех примесей, что налипали веками.

V

Были ли в лагере еще интересные люди? Ведь только на одиннадцатом мыкало горе тысяча четыреста арестантов. Внутренне интересных людей было очень мало, а равных по интеллекту петербуржцам или Синявскому просто не было. Зато много было людей с интересными, порой даже легендарными судьбами. Двадцать третий год томился в лагере Василий Илларионович Стоценко, в прошлом коммунист, начальник планового отдела треста «Краснодонуголь», инженер по образованию, бывший во время немецкой оккупации бургомистром Краснодона, а сейчас — полутруп. Он несколько лет просидел под следствием на Лубянке, его допрашивал в чекистской форме жандарм по облику и духу писатель Александр Фадеев, автор пресловутого романа «Молодая гвардия».

Василий Илларионович, человек неглупый, клянется-божится, что он ни о какой «Молодой гвардии» понятия не имел, виновным он себя не признал и не признает никогда, потому что партийная организация Краснодона при отступлении советских войск приказала ему остаться в оккупации на предмет подпольной работы. Но так как к нему никто из подпольщиков не явился, он решил, что бургомистром быть лучше, чем умереть в концентрационном лагере.

Столько же лет гниет в исправительно-трудовых учреждениях МВД СССР Иван Николаевич Черенков, съевший со Стоценко не один пуд соли. До оккупации

он работал в том же тресте главным бухгалтером. При немцах стал старшим следователем жандармерии, вел только политические дела.

— Коммунистов и комиссаров, — честно признается Иван Николаевич. — К «Молодой гвардии» я не имел никакого отношения. Да ее и не было. Были молодые парни, хулиганье. Таскали с машин посылки, продавали на базаре ворованные сигареты. Их полиция неоднократно предупреждала. Они не слушались. А кончилось тем, что однажды, под Рождество, шалопаи эти утащили рождественские посылки, присланные солдатам и офицерам. Их, понятное дело, арестовали и, — так как это «дело» совпало с отступлением немецких войск, — расстреляли. Без моего участия. Я успел эвакуироваться. И был уже в американской зоне в Италии, в полной безопасности, когда однажды пригласили меня в штаб и объявили мне, что согласно договоренности Сталина, Рузвельта и Черчилля, меня выдают советским властям как особо опасного преступника против человечества. Пять лет сидел на Лубянке. Всё спрашивали о деятельности красnodонской организации «Молодая гвардия». Каждый раз, придя на следствие, я говорил: «Такой организации не было». И каждый раз мне отвечали: «Будете сидеть до тех пор, пока не покажете, что она была». Показал. Признался же ученик десятого класса из известного анекдота, взятый чекистами за неблагонадежность, что это он написал «Евгения Онегина». Признался и я, что «Молодая гвардия» была и что я вел по ней следствие. Между прочим, мать Кошевого стала любовницей Фадеева, когда тот приехал писать свою «липу». У него от нее ребенок, — так закончил свой рассказ этот тихий и замкнутый человек с лошадиными зубами.

Сейчас Черенков на семнадцатом. Работает на швейной фабрике браковщиком. Чекисты попросили его следить за тем, чтоб в рукавицу кто-нибудь из «злумышленников» не засунул антисоветскую листовку.

На советский «Смерш» (военная контрразведка) и на фашистский Абвер работал хладнокровный и щепетильный во взаиморасчетах, человек слова — калмык Эрдни Батиевич Доружиев, устроившийся в лагере зубопротезистом. У него всегда есть деньги и даже беспроигрышные облигации — так называемый трехпроцентный золотой заем. Он не жаден, всегда поможет, но не терпит обмана. Его срок — двадцать пять лет.

Вообще следователей, полицейских, разведчиков и шпионов в лагере уйма. И советских, и немецких, и безнациональных, и безгосударственных, и бериевцев, и абакумовцев.

Тут — бывший начальник азербайджанского КГБ Анахашиев, всегда чистенький, с бородкой клинышком; он, говорят, расстрелял у себя в кабинете не одного. Ходит мало, предпочитая находиться в углу, как сейф. Слова из него не выдавишь, но на груди ромбик СВП, что значит секция внутреннего порядка. Такие люди без знаков, как козлы без рогов. А какой козел без рогов?

Есть в лагере националисты: украинцы, латыши, литовцы, эстонцы, армяне. Все они хотят видеть свои земли не только без коммунистов, но и без русских.

— Нам этот «старший брат» вот уже где, — показывая на горло, говорит очень симпатичный Гунар Астра — здоровеннейший детина, отлично знающий поэзию и литературу вообще, радиотехник по образованию. — После того, как русские протянули нам братскую руку (я имею в виду 1939 год), народы прикарпатской Украины и Прибалтики без конца протягивают ноги.

Милый Астра! Если бы только *эти* народы! А потом, что значит *русские*? Разве советские и русские — одно и то же?

Работая над «Мордовским циклом стихов», я написал такие строки:

На мордовской земле, где березы шумят, —
Кровь и кости сынов Украины.
Здесь Прибалтика спит
И, как звезды, горят
Души павших

Российской дружины.

Если б не было их, —
Не дожить бы тебе.
Не собрать урожаев обильных.
Помолись, помолись
За погибших в борьбе.
За всех мёртвых,

Гонимых и ссыльных.

Первыми на эту кандалную землю в начале двадцатых годов пригнали русских. Священники, дворяне, монашенки, ученые и писатели, не принявшие советской власти, — все погребены здесь и на Соловках, а потом уж, остатки, пошли на Колыму, в Норыльск и Тайшет. Нет-нет да и находят сейчас арестанты, работающие здесь, то череп с дыркой от пули, то косу женскую — волосы долго сохраняются. Между прочим, непреклонный Аввакум твердо знал уже тогда, что Россию дьяволу не одолеть. Да и не только Россию!

Бывает зло и к добру. Бывает оно подножием добра. На благо.

Все имеет смысл в мире, созданном Богом. Что для одних яд, — другим послужит лекарством. Чемерица — ядовитое растение, но ею питаются перепела.

Петербургская тайная организация социал-христиан выросла в Ленинградском коммунистическом университете. Отец Николая Викторовича Иванова — убежденный коммунист, партийные семьи у Баранова и Коносова. И Айдова, и Драгоша и тех других, о которых я буду еще говорить ниже, — родила советская власть.

АРЕСТАНТСКИЕ ВСТРЕЧИ

Россия-матушка — Божья страна. И Церковь Христова на ней бессмертна, — изрек Аввакум, умирая. — Свяжет Господь дьявола при конце века. Христос грядёт.

И я уверен, что грядёт Христос.

Не конец света надвигается, как пророчествуют некоторые верующие, а конец дьяволу.

Подходит год времени, в который уравновесятся чаши страданий и пролитой крови, начиная от Авеля.

Вот это — мера. Господь — это гармония.

Бездна должна отстрадать.

Мордовия 1969

(Окончание следует)

ПРИЛОЖЕНИЕ: БИОГРАФИИ

⁹ НАГОРНЫЙ Валерий, 1938 г. р., инженер Ленинградского института точной механики и оптики. Арестован по делу Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа. 5 апреля 1968 г. был, вместе с другими, присужден к 3 годам лагерей строгого режима (см. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 13, 9/71, стр. 9, а также «Посев» 5/68, стр. 3 и 12/68, стр. 13). Срок отбывал на 17 л/о Дубровлага. Освобожден по отбытии срока в марте 1970 г.

¹⁰ БАРАНОВ Юрий Петрович, 1938 г. р., инженер-электрик клиники госпитальной хирургии 1-го ленинградского мединститута. Арестован по делу Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа. 5 апреля 1968 г. был, вместе с другими, присужден к 3 годам лагерей строгого режима (см. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 13, 9/71, стр. 9, а также «Посев» 5/68, стр. 3 и 12/68, стр. 13). Срок отбывал на 17 л/о Дубровлага. Освободился 10 февраля 1970 г. по истечении срока и, спустя несколько недель после освобождения, умер.

¹¹ СУДАРЕВ Анатолий, 1939 г. р., переводчик, окончил ЛГУ. Арестован по делу Всероссийского социал-христианского союза

освобождения народа. 5 апреля 1968 г. был, вместе с другими, присужден к 2 годам лагерей строгого режима (см. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 13, 9/71, стр. 9, а также «Посев» 5/68, стр. 3 и 12/68, стр. 13). Срок отбывал на 17 л/о Дубровлага. Освобожден по отбытии срока в марте 1969 г.

¹² ДОЛЬНИК Соломон Борисович ок. 1900 г. р., был арестован в начале 1966 г. в Москве по обвинению в распространении сионистской и антисоветской литературы. Срок отбывал в Мордовских лагерях. После освобождения, вместе с женой, выехал в Израиль. (См. «Посев» 11/71, стр. 30, Ирина Дольник, «Злополучная вобла». Картинки из пережитого.).

¹³ ГЕНДЛЕР Юрий Л. 1936 г. р., юрисконсульт. Арестован 1. 8. 1968 г., когда вместе с друзьями (8-10 чел.) собирался составить обращение к гражданам Чехословакии и выразить свое сочувствие политическому развитию в ЧССР под впечатлением письма Анатолия Марченко, адресованного в три чехословацкие газеты (см. «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 38). На процессе 17-26. 12. 1968 г. признал себя виновным, обещал исправиться, отрицая, однако, наличие антисоветского умысла в своих действиях. Приговорен к 3 годам лагерей строгого режима. (См. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 48; 5/70, стр. 23, «О процессе Л. Квачевского», а также «Посев» 1/69, стр. 2). По окончании срока должен был освободиться в августе 1971 г.

¹⁴ ВЕРЕТЕНОВ Владимир, 1936 г. р., химик из Томска, окончил ЛГУ. Арестован по делу Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа. 5 апреля 1968 г. был, вместе с другими, присужден к 2 годам лагерей строгого режима. Срок отбывал на 17 л/о Дубровлага (см. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 13, 9/71, стр. 9, а также «Посев» 5/68, стр. 3 и 12/68, стр. 13). Освобожден по отбытии срока в марте 1969 г.

Заметки о „Раковом корпусе” А. Солженицына

I. ТЕМА СЧАСТЬЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА И В «РАКОВОМ КОРПУСЕ»

Уже не раз писалось о Солженицыне и о его связи с писателями XIX века. Многие из тем и идей писателей этого века представлены у Солженицына в их развитии, в их сложности и противоречивости, характерных уже для нашего века. Мне кажется, что одна из особенностей, делающая «Раковый корпус» большой книгой большого писателя, — ее тон, очень далекий от пессимизма, хотя последний оправдывался бы и даже напрашивался хотя бы уже тем местом, где происходит действие; и тем, что вся ткань книги пронизана воспоминаниями о лагерях и тюрьмах; тем, что большинство героев книги — это люди сосланные, то есть безо всякой причины сорванные с насиженного места, вынужденные жить вдали от родины, — что усугубляет их страдания. Слова «битая», «побитая», относящиеся в книге к Олегу Костоготову и к врачу Донцовой, можно отнести к очень многим ее героям: к Дёмке и Вере Гангарт, к Шулубину и Елизавете Анатольевне, к Сигбатову и многим другим.

И всё же Солженицын сумел показать мгновения счастья. Счастье это — разное, различающееся по степени и по причине, его вызвавшей. Это — счастье людей и людишек. Прежде чем обратиться к теме счастья

в «Раковом корпусе», вспомним вкратце, как относились к счастью писатели XIX века.

Пушкин — единственный писатель, кого считают представителем ренессанса в русской литературе. Был ли он счастлив и создал ли образы счастливых людей? Сам лично Пушкин боялся счастья и считал, что не рожден для него. Таков он в письмах и записках. А его герои? Татьяна в «Евгении Онегине» восклицает: «А счастье было так возможно, / Так близко!..¹». Да, было возможно, но что-то помешало его осуществлению. Онегин несчастлив; Ленский убит; Герман из «Пиковой дамы» сходит с ума; гибнет Дубровский; гибнет Пугачев; несчастлив и Алеко, герой поэмы Пушкина «Цыганы».

Лермонтов известен своей меланхолией, своим жизнеотрицанием. «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — / Такая пустая и глупая шутка!»²; ангел несет младенца: «Для мира печали и слез...»³. Печорин мечется, не находя не только счастья, но и места, где мог бы жить сносно. Ясно, что в произведениях Достоевского нет счастливых людей; может быть, старец Зосима в «Братьях Карамазовых»?

Чехова счастье благополучия отталкивало. У рассказчика «Крыжовника» вид счастливых людей вызывает отвращение. Как можно быть счастливым, когда вокруг страдают? Есть у Чехова рассказ «Счастье», в котором говорится о том, что счастье — это мираж, что где-то в земле зарыт этот клад, но никто не знает, где он зарыт, поэтому в жизни люди несчастливы.

Лев Толстой кажется мне единственным писателем XIX века, умевшим показать счастливых людей; счастье, изображаемое им, мгновенное. Так, например, в «Войне и мире» разные люди забывают обо всем под влиянием Наташиного пения. Вспомним, например, Николая Ростова, который только что был расстроен из-за своего денежного долга, долга чести, но которому все эти невзгоды вдруг начинают казаться ничего не зна-

чащими по сравнению с Наташиным пением, ее талантом затрагивать самое сокровенное в душе человека и просветлять ее.

Более длительное счастье Толстой видел в семейной жизни: таково счастье Наташи и Марьи Болконской в конце романа. Но к этому счастью способны у Толстого только женщины, да и то не все. Трудно назвать Долли Облонскую из «Анны Карениной» счастливой. Анна испытала счастье любви, но было в нем и много горечи, хотя бы мысли и чувства, связанные с ее сыном Сережей, которого она вынуждена была оставить. И не длительным оказалось это счастье, — оно привело героиню под колеса поезда!

У Толстого семья не дает, как правило, счастья мужчине. Как отмечает Марк Алданов в своей книге «Загадка Толстого», счастливый семьянин Константин Левин несколько раз был близок к самоубийству. Что уж говорить об Андрее Болконском? Даже Пьер Безухов не удовлетворяется семейной жизнью, ищет чего-то иного... Мужчины Толстого *думают*, а это — болезнь, по его мнению (да и по мнению Достоевского), поэтому они не могут быть счастливыми. Во время последнего разговора Андрея с Пьером, первый говорит:

«Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла...»⁴.

Солженицын представляет тему счастья в «Раковом корпусе» с помощью нескольких способов: он, например, сталкивает героев в споре, заставляет их в разное время повторять одни и те же ходячие мнения о счастье с разным отношением к этим мнениям; один и тот же герой в разных ситуациях высказывает противоречивые мысли о счастье; кроме того, герои показаны не только в минуты страдания, но и радости, счастья.

Ася первой высказывает мнение, что жизнь дана для счастья⁵. Жизнь ее сильно ударила, и сомнительно,

сможет ли она со своими представлениями о счастье найти его.

Эти же слова повторяет Олег, разговаривая с Русановым, повторяет, издеваясь над «глубиной» высказанных им мыслей, считая, что счастливо может быть и животное: «курица, кошка, собака» (стр. 158). А затем, в разговоре с Шулубиным, Олег, на долю которого выпала на редкость несчастливая жизнь (а может быть, и обычная доля в советской действительности), требует свою меру счастья, восклицая: «Нет, счастье — вы мне оставьте! ... хоть на несколько месяцев перед смертью!» (стр. 491), якобы противореча сам себе. Но противоречие здесь только внешнее: в каждом человеке заложено желание быть счастливым; только на «счастье» Русанова — материальное благополучие, построенное на чужих слезах и купленное ценой доносов и уничтожения многих честных людей, — на такое «счастье» Олег, конечно, не согласится. Зато Олег оказывается очень восприимчивым к тому, что Солженицын называет «самосущими радостями» (стр. 174), ощущение которых очень обострено у Олега, конечно, в связи с возвращенной ему относительной свободой, на которой он оказался после стольких лет тюрьмы. Кроме того, Олег умеет воспринимать счастье, заключенное в самых незначительных проявлениях жизни, таких, например, как возможность дышать свежим воздухом и курить папиросу (стр. 174). Этой способностью герой Солженицына напоминает многих героев Ивана Бунина, не сидевших, правда, в тюрьме и все-таки отдающих должное простому немудрёному счастью самой жизни, таким ее явлениям, или проявлениям, или просто предметам, как запахи, цвета или даже абажур на лампе⁶.

Подобному отношению к жизни Олег научился у Кадминых, которые, живя в большом городе внешне благополучно, были несчастливы, а в ссылке научились ценить такие «самосущие» радости⁷, как круглый деревянный, почти самодельный стол или же керосиновую

лампу. Они счастливы потому, что в царстве жестокости советской России сумели сохранить гуманность: любовь к человеку, любовь к животному.

Затем: по мысли Солженицына, счастье человека зависит от самого человека. Вот как об этом думает Олег под влиянием чудесной семьи Кадминых:

«Потому что ведь — она права! — совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а — отношение сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то и другое — всегда в нашей власти, а значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого, и никто не может ему помешать» (стр. 301—302).

Почти весь последний день Олега в городе — это счастье нового рождения человека. Очень многое возбуждает в Олеге восторг бытия, вводит его в царство счастья: это, например, цветущий урюк, его красота, нежность его розового цвета, которую Олег хочет запомнить и унести с собой. Или шашлык: как Олег ест его — вся его душа затронута этим внешним, таким, казалось бы, неважным для человека действием. Счастье нового рождения Олега связывается Солженицыным с обновлением, которое есть закон жизни. Олег думает:

«Это большая радость: в землю что-то тыкать, а потом смотреть, как вылезает» (стр. 513).

В этом есть нечто общее со счастьем, которое находят герои Толстого в семье — она ведь тоже источник обновления жизни. С этим же связана и неполнота счастья Олега:

«Пришло долгожданное счастье жизни, пришло! — а Олег его почему-то не узнавал» (стр. 581).

Невозможность для Олега иметь детей, иметь полноценную семью нарушает счастливое состояние его духа.

Вообще же трудно быть постоянно счастливым в жизни, а тем более, когда нет свободы ни от пут госу-

дарства с его тюрьмами и ссылками навечно, ни от болезни и ее последствий. И всё же верится, что Олег, такой, как он есть, выживет, сохранит свою душу и еще не раз будет счастлив потому, что жестокость жизни не убила в нем ростков хорошего, доброго. Олег способен оценить доброту (например, доктора Масленникова), самоотверженный труд врачей (Донцова), быть душевно тонким, помочь человеку, нуждающемуся в помощи. В Олеге сохранилось и стремление к идеалу:

«А хотелось бы коснуться чего-нибудь совсем другого. Чистого. Незыблемого» (стр. 455).

Иначе относится к счастью Шулубин. Он лгал, унижался, лицемерил во имя так называемого счастья, в чем-то смыкающегося с пошлым счастьем Русанова, и оно обмануло его. Всё это делалось Шулубиным во имя семьи; во имя семьи уничтожалась душа, — а дети вышли порождением зла, соответствующими господствующему в стране строю. По мысли Солженицына, семейное счастье, заключающееся в продолжении жизни, в обновлении цепи человеческого рода, отнюдь не оправдывается уничтожением во имя этого других или своей души.

Шулубин поднимает вопрос о счастье не только личном, но и будущих поколений. Перед нами — развитие темы Достоевского, будущая гармония, которая не нужна, по мнению Ивана Карамазова, если будет достигнута ценой хотя бы одной слезы ребенка. Шулубин, развивая эту тему, замечает, что неизвестно, кем и чем будут эти поколения, в чем они усмотрят счастье и окажется ли счастье этих грядущих поколений стоющим сегодняшних жертв. Можно продолжить мысль Шулубина следующим образом: представим себе, что будущие поколения Ивана Карамазова это — процветающие русановы; разве стоило для их счастья бороться, жертвовать многим, порою даже жизнью? А таким людям, — честным и хорошим, как Олег и Шулубин, —

жертвы предыдущих поколений ничего не принесли, кроме зла.

Шулубин приходит к концу своей жизни к выводу, что счастье — мираж, его нет, да оно и не нужно. «Счастлив и зверь, грызущий добычу» (стр. 491), — говорит он. Шулубин приходит к отрицанию того идеала, согласно которому прожил свою жизнь:

«Если только заботиться о «счастье» и о размножении, — мы бессмысленно заполним землю и создадим страшное общество...» (там же).

Для него главное — не обновление, иронически названное выше «размножением», и не счастье, а взаимопонимание, взаимопомощь, взаимное просветление душ.

Еще же важнее для Шулубина то, что в человеке есть нечто выходящее за пределы самого человека.

«Что-то уж очень есть неистребимое, высокое очень! Какой-то осколочек Мирового Духа» (стр. 534).

Эти мысли Шулубина перекликаются с мыслями доктора Орещенко: необходимо сохранить в душе незапятнанным тот образ вечности, который заложен в каждом. Принадлежность ко Вселенной, ощущение ее, связь с Божественным источником жизни — вот что может дать счастье человеку задумавшемуся.

Вере Гангарт мгновение счастья может дать сознание, что ее моральные ценности, выстраданные, выношенные годами, нашли понимание, что в главном — она права. Стоит вспомнить описание того, как Вера идет после переливания крови Олегу, после их памятного разговора. Она не идет, — она танцует, всё поет у нее в душе. Всё, что ей было раньше не под силу, теперь кажется возможным. А чего стоит ее воображаемый разговор с Олегом! Наряду с невозможностью взаимопонимания (например, разговоры Олега с Донцовой, с Зоей), Солженицын сумел показать, как в иных си-

туациях в прах разлетается стена взаимного непонимания и какое счастье это дает людям, живущим под знаком волчьего закона нашей жизни.

Есть в произведении и иное счастье: счастье Вадима, которое он видит в работе, да не во всякой, а именно в той, которая может принести ему славу. Он напоминает Андрея Болконского в определенный период жизни последнего. Начинает развенчивать высшую ценность такой работы-славы Вадима — Шулубин. «Интересно» — единственный аргумент, которым в состоянии защитить свое кредо Вадим, не выдерживает критики Шулубина. Последний говорит:

«Коммерция тоже интересна. Делать деньги, считать их, заводить имущество, строиться, обставляться удобствами — это тоже всё интересно. При таком объяснении наука не возвышается над длинным рядом эгоистических и совершенно безнравственных занятий» (стр. 421-422).

При подобном подходе к вопросу «интерес» Вадима не очень-то многим отличается от «интереса» Русанова. Не случайно так часто совпадают мнения этих двух героев. Со своим «интересно» Вадим безразличен к людям, смотрит на них свысока, счастье его — эгоистическое.

Семейная ячейка, в созидании которой видит счастье Зоя, напоминая этим Наташу Ростову, счастье в наслаждении Аси — всё это тоже разновидности мелкого, эгоистического счастья.

2. ОСОБЕННОСТИ ПОРТРЕТА В «РАКОВОМ КОРПУСЕ»

Одна из особенностей портрета в произведениях Солженицына — его динамичность: подвижны руки, ресницы, брови, губы, голова и всё лицо героя. Таково большинство портретов в «Раковом корпусе». Исклю-

чение — портрет доктора Орещенкова, воссозданный в еле заметных движениях, отвечающих тому образу «вечности», в котором заключается для него смысл существования и который требует «молчаливого углубления, свободного от внешнего звука, разговора, от деловых мыслей...» (стр. 474).

Интересен в этом отношении и портрет Шулубина, одна из основных черт которого — неподвижность: автор отмечает его «глаза с неподвижностью» (стр. 338), его «замерший взгляд» (стр. 342), положение его тела: «... и высился он, как враждебный часовой...» (стр. 419) и др. Тем разительнее и значительнее изображение лица последнего как самого движения во время разговора с Олегом:

«У него лицо из тех было лиц, которые все смещаются, меняются, искажаются при сильном чувстве, ни одна черта не остается покойной» (стр. 481).

Контраст между Шулубиным, застывшим, замершим, неподвижным (каким мы видим его в палате и каким он, наверное, кажется и в повседневной жизни), и Шулубиным, изображенным в разговоре с Костогловым, указывает на степень уничтожения его личности, делает наглядной неестественность его обычного поведения; не случайно в палате, при всех, он напоминает Олегу «только что разгримированного, измученного спектаклем артиста» (стр. 358). Всю свою жизнь вынужден был Шулубин играть роль, вести себя не так, как его «я» этого требовало.

Герои Достоевского тоже всегда в масках, они не знают, каково их истинное лицо⁸, они ищут его и из-за этого страдают. По-моему, страдания Шулубина, которому *пришлось* надеть личину властью обстоятельств, из которых нет выхода, — много трагичнее, чем у героев Достоевского.

В портрете есть еще одна деталь. Понятно, что ему

трудно сидеть и двигаться, — причиной этому его болезнь. Но Солженицын подчеркивает затрудненность движения той части его тела, которой внешне ничего не препятствует: Шулубин

«странно как-то обвел кругообразно шеей, будто воротник его теснил, но никакой воротник ему не мешал, просторен был ворот нижней сорочки»⁹.

Это странное движение Шулубин делает «как если бы хотел освободить голову — и не мог» (стр. 421). Перед нами — определенная символика портрета. Душевная скованность героя, который не может говорить, думать и поступать так, как он хочет, находит свое выражение и во внешнем движении, вызванном внутренним «тюремным заключением», которому подвергнут Шулубин, как и многие ему подобные.

Очень подвижные, выразительные губы у Веры Гангарт; самые разнообразные чувства отражаются в их движении: доброта, в высшей степени присущая ей, недовольство, страдание...

«Губы ее никогда не оставались равнодушны к тому, что они произносили. Крохотными движениями — изгибом, не одинаковым слева и справа, чуть вывертом, чуть передергом, они поддерживали мысль и уясняли» (стр. 369).

Движения в произведениях Солженицына оказываются более выразительными, чем слова, и часто его герои обходятся без слов. Так, например, узнал Дёмка о своей судьбе:

«Только обошла она (хирург. — Л. К.) пальцем Дёмкину опухоль, да приобняла за плечи — и пошла дальше. Но тем случилось что-то роковое. Дёмка почувствовал. Веточки его надежды отрубались» (стр. 138).

Нет таких слов, которые могли бы передать трагизм Дёмкиного положения! Даже описывая, что он почувствовал, Солженицын скуп на слова: в таких ситуациях предложения писателя становятся короткими,

отрывистыми, что делает передачу содержания такой же резкой, как и сама трагедия героя.

Самое главное, самое невыразимое, — некий «подтекст», — тоже заключен в движениях героев Солженицына. Вот как об этом думает Олег: «Вечное это сочетание рук, неизбежное продолжение разговора...» (стр. 256). Разговор при помощи движений рук помогает преодолевать отсутствие коммуникации между людьми. В нем заключена большая сила, разрушающая стену человеческого непонимания.

И быстрота, мимолетность неоформленных человеческих мыслей, которые еще как бы находятся в подсознании или по пути из него, еще не успели вылиться в слова, передаются Солженицыным также с помощью движения. Нежелание Олега сообщить безголосому лектору-философу, занимающемуся всякого рода советской демагогией, адрес врача Масленникова, причины этого нежелания, чувства, с ним связанные, «все это было — не размышление, лишь один поворот подбородка со шрамом от Русанова к Ахмаджану мимо безголосого» (стр. 166).

Большую роль в портретах героев Солженицына, как и в портретах героев почти любого другого писателя, играют глаза. Попробуем проследить, есть ли что-либо особенное, присущее только Солженицыну в этих описаниях. Подмена диалога с помощью слов — диалогом глаз издавна известна в литературе. Так же, как у героев Льва Толстого, взгляд героев Солженицына часто сообщает нечто противоречащее смыслу произносимых слов:

«Так они сказали, но внимательно смотрели друг на друга, и ясно было, что не в этих словах дело» (стр. 127).

Так ведутся любовные разговоры, но не только они. Трагический диалог заболевшего врача Донцовой и смертельно больного татарина Сигбатова, для которого

она сделала очень много, тоже ведется с помощью глаз (стр. 500).

«Поведение» глаз выдает характер человека. Вера Гангарт, будучи ни в чем не виновата, опустила глаза перед беззастенчивой ложью: «Она всегда опускала их, если думала о человеке неприятное» (стр. 413), а Зоя, которой ничего не сто́ит сыграть роль, «победив, еще продолжала испытывать ее оскорбленным прямодушным взглядом» (там же). Сколько иронии в этом «прямодушном» взгляде лгущей Зои... Не случайно Вера не задает вопросов Олегу, она понимает, что́ с ним случилось и кто́ в этом виноват. А Зоя наивно спрашивает Олега:

«— Ну, а вам, мальчикам, — зачем это все нужно было?

— Что? — не понял Олег.

— Ну вот это... быть недовольными... Чего-то там ожидать...» (стр. 190).

Зоя вполне соответствует режиму, при котором господствует ложь, где надо играть роль, удобную правителям, быть «всем довольным», ничего не «ожидать». Зое будет при этом режиме хорошо.

Неотступный, пристальный взгляд одного человека в глаза другому взаимно открывает обоим их сущность. Вот как об этом пишет Солженицын:

«Когда глаза неотрывно-неотрывно смотрят друг в друга, появляется совсем новое качество: увидишь такое, что при беглом скольжении не открывается. Глаза как будто теряют защитную цветную оболочку и всю правду выбрызгивают без слов, не могут ее удержать» (стр. 370).

Солженицын ставит Олега Костоглотова в положение, при котором он смотрит этим продолжительным взглядом и в глаза Зои, и в глаза Веры, и видит совершенно нечто разное, раскрывающее подлинную сущность характеров обеих героинь. У Зои он замечает в глазах хищность (стр. 271), зато у Веры глаза — беззащитные (стр. 370).

Описание глаз Шулубина повторяется много раз, и, в отличие от Толстого, это делается коротко. Настойчивое повторение описания глаз в случае Шулубина не столько заставляет читателя запомнить героя (каково главное назначение описания глаз у Толстого, например, у Марьи Болконской), сколько звучит тревожным набатом. Глаза Шулубина необычны и описаны они очень подробно: их цвет, величина, нездоровый вид и, главное, их выражение — осуждающее, обвиняющее людей в том, что произошло в его стране, что случилось с ним. Это «неодобряющий... взгляд» (стр. 351), недобрые глаза (стр. 357); или: «На всех он так уставлялся, будто все они здесь были в чем-то виноваты перед ним» (стр. 338). Особенно не по себе под этим взглядом Русанову (там же), — «знает кошка, чье мясо съела».

Шулубин смотрит пристально на людей, но непонятно, видит ли он человека, на которого глядит. Взгляд его не столько внешний, сколько внутренний, устремленный в тайны происшедшего. Это — попытка разобраться в себе и в окружающем. Кроме того, у него взгляд, характерный для человека, ждущего со всех сторон опасности, «будто он был взбужен ночным стуком в одиноком доме, сошел с кровати и не знал — откуда беда» (там же). Последнее предложение имеет двойное значение: с одной стороны, Шулубин действительно не мог разобраться в том, что происходит, с другой, — эта фраза отмечает характерную черту жизни в советской России: стук ночью в дверь чаще всего означал арест.

Глаза героев Солженицына как бы обладают некой таинственной способностью предугадывать будущее их обладателя и выражать его. Вот как, например, Олег говорит Зое о девушке, которую он любил до ареста:

«В глазах, вот как в ваших — всегда насмешечка, а у нее —немножко грусть. Неужели уж человек так предчувствует свою судьбу, а?» (стр. 191).

Перед нами некий мистицизм, столь мало характерный для официальной советской литературы. Выражение, отмеченное в глазах Зои, тоже отнюдь не случайное: конечно же, она будет преуспевать в жизни.

Зоя часто играет глазами, и автор неоднократно подчеркивает эту искусственность в движении ее глаз и то, что она знает, как ей это к лицу. Ей не трудно играть в жизни, она — не Шулубин, не будет она внутренне казниться и истязать себя на медленном огне за неискренность.

Зато глаза Веры — как легко им смеяться и как часто они это делают! (стр. стр. 357, 517). Это — отзывчивые глаза, как и сама их обладательница. Глаза Веры светло-кофейные, и цвет этот обыгрывается автором. Он, этот цвет, означает так много для Олега — под взглядом этих глаз Олег согласен на всё или почти на всё. Образ Веры — светлый, как светлы и ее глаза, какой должна быть ослепительно светлой Вега. Для Олега — весь облик Веры светлый. У нее «такое светящееся лицо» (стр. 260), она вся «такая светящаяся женщина» (там же); в день переливания крови Олегу она излучает «светлость и радость» (стр. 412); во время последнего их разговора Вера смотрит «из светового охвата» (стр. 518), «в рассеянных веерах света, забившего всю комнату» (там же).

Олег отличается «глазищами» — так названы его глаза шесть или семь раз. Взгляд его темный, сильный, гневный, непримиримый, горящий. Все перечисленные эпитеты и сам размер глаз подчеркивают внутреннюю силу Олега, много пережившего и закалившегося в трудной жизни. Чувствуется и его несломленность, способность к борьбе. Но если человек, с его глупостью или ограниченностью, перестает интересоваться Олегом, он смотрит «пусто» или «тупо» (стр. стр. 426, 506). Здесь стоит отметить и пятикратно повторенное упоминание о том, что Олег зевает, когда ему надоедает бессмыс-

ленность спора с людьми, мало что понимающими в жизни (стр. 454).

В характеристике взгляда Русанова обращает на себя внимание то, что чаще всего вместо глаз описываются очки. Не случайно автор наделил Русанова очками. Глаза выражают чувства, а стекло — бездушно, так же, как бездушен и их владелец Русанов. Вот несколько примеров: «...блеснул очками»... (стр. 156), «...культурно поднял брови за очками...» (стр. 230), «...приветливо сверкнул очками...» (стр. 228).

Растерянность врача Донцовой под натиском болезни передана тем, что внимательное лицо и острый профессиональный взгляд у нее сменяется «усталым, заморганным лицом» (стр. 472; курсив мой. — Л. К.).

Нередко в характеристике мужчин, наиболее приближающихся к тому, что можно определить положительным героем, Солженицыным подчеркивается диссонанс: весь образ героя строится на этом диссонансе во внешности героя. Таковы в «Раковом корпусе» Олег и Лев Леонидович. У Олега диссонансный штрих — прежде всего, конечно, его шрам, а также его «непричесанные, дыбливые черные волосы, торчавшие и вверх и вбок» (стр. 18), описание которых повторяется неоднократно, причем значение сохраняется, а меняются лишь определяющие слова, например: «...во всех направлениях были закручены вихры на его... голове...» (стр. 42), «черная метелка» (стр. 195), «косматая черная голова» (стр. 252) и так далее. Присущие Олегу «дикость» (стр. 75) и «неукладистость» (стр. 37) еще углубляются его привычкой кривить рот, лицо, шрам, глаза. Он — долговязый, неуклюжий. Может быть, эта внешняя дисгармония связана с бурной внутренней жизнью Олега, ею же подчеркивается и его внутренняя привлекательность.

А вот Лев Леонидович: у него «милосмешная фигура гориллоида» (стр. 387), его очень длинные руки-

лапы болтаются или же смешно не влезают в маленькие карманы. Контраст этих двух героев с каким-то уж слишком красивым Вадимом подчеркивает, по-моему, их бóльшую человечность. Авторской иронией проникнуто описание другого внешне благообразного героя — директора больницы, самодовольного тупицы и ничтожества:

«С той сединой, которая с известного десятка лет окружает равнодушно-благородным нимбом головы талантов и тупиц, самоотверженцев и проходимцев, деятелей и лентяев; с той представительностью и успокоенностью, которыми вознаграждает нас природа за неиспытанные муки мысли...» (стр. 393-394).

Так рисуется этот директор больницы. Чего стоит этот *равнодушно-благородный* нимб, равнодушный к тому, чью голову он украшает! Не меньше иронии ощущаем мы и в упоминании об *успокоенности* взгляда, *вознаграждающей* человека за *неиспытанные* муки мысли. У Солженицына, как и у Достоевского, красивая внешность героя часто противоречит его внутреннему содержанию. (Говоря о Достоевском, стоит вспомнить очень правильное, но отталкивающее лицо Ставрогина из «Бесов»). В отличие от директора Лев Леонидович, — трудолюбивый, талантливый, с живой совестью, — наделен внешностью странной, далекой от благообразия.

Лицо Олега и его выражения проходят ряд метаморфоз. Это зависит от того, видим ли мы его объективно, то есть глазами автора, или же глазами кого-либо из героев, а также от того, в каком настроении сам Олег пребывает. Русанов видит Олега в качестве «бандюги» (стр. 18), поэтому лицо у него в такие минуты грубое, жёсткое. «Закоренело-упрямое» (стр. 192) выражение его лица отмечается многими, в том числе и Донцовой. Но это же лицо смягчается, попадая в сферу влияния Веры и солнца. Даже болтовня с Зоей при-

водит к тому, что лицо Олега добрее и становится мягче. В минуты счастья нового рождения Олег описан так:

«И — лицом разойдясь от счастья, улыбаясь никому — небу и деревьям в той ранневесенней, раннеутренней радости... Олег пошел по знакомым аллеям...» (стр. 536).

В таком изображении передана интенсивность, максимальность изменения в лице, — ею подменена определенность характеристики этого изменения. В ряде портретов лицо Олега дано как нечто самодовлеющее, как бы имеющее квадратуру, в которую можно войти: «опять он возвращался в свое жесткое лицо и медленную речь» (стр. 44).

Руки у Олега крепкие, как и весь он: не дрогнул он при известии, что может умереть; тюрьма приучила его относиться к смерти равнодушно, сколько раз он там был близок к ней, сама тюрьма и смерть даны Солженицыным как своего рода синонимы. В отличие от этого руки Олега дрогнули при известии о смене Верховного суда: никогда не умирают в человеке надежды на лучшее, как ни доказывай ему фактами и логикой, что это лучшее невозможно.

Весьма ярка и разнообразна гамма оттенков человеческого голоса в произведениях Солженицына: поражает богатство лексики и разнообразие ее источников, а также то, насколько употребленный глагол передает переживание человека и соответствует ему. Олег говорит быстро, громко, зло, неприязненно (зарычал, буркнул, огрызнулся, ляпнул, гроыхнул, отгавкнулся, проревел, промычал и много других). Но он же может говорить тихо, и тихий голос его связан с благожелательностью и хорошим настроением: Олег «спросил... негромко, счастливо» (стр. 365). Однако тихий голос Олега может выражать и высшее презрение к человеку, к его образу мыслей; так, разговаривая с Ахмаджаном и выяснив, что последний — не солдат, а охранник, да еще убежденный в том, что арестован-

ные — не люди, Олег говорит «еще тише, будто силы теряя...» (стр. 508), теряя силы от взаимного непонимания, от невозможности пробить глухую стену между двумя соотечественниками, от отвращения. (Попутно сто́ит отметить неумение санитарки Нелли говорить тихо, ее шёпот — это крик, слышный на нескольких этажах. Если громкость голоса Олега связана с его силой, а также с несправедливостью, причиненной ему, — чтобы обороняться, надо поднять голос, то громкий говор Нелли делается главной чертой в характеристике этого грубого и примитивного существа.)

Отмечу еще два момента в описании внешности Олега: во-первых, разговаривая с Шулубиным, Олег как бы заражается настроением последнего, что отражается и в позе Олега:

«Подобно ему и Костоглотов, тоже осунувшись, тоже перевесясь вперед и назад, сидел на узкой скамье, как хохлатая птица на жердочке» (стр. 482).

Общность настроения, близость внешне таких разных судеб, глубокое взаимопонимание передано похожей позой, перенятой Олегом бессознательно от старшего, от Шулубина.

Вышедший на прогулку Олег, уже обессиливший от рентгена, сидит — и вот как это описывается:

«...на камне.. сидел Костоглотов... И руки свесил... до земли же. И голову без шапки уронил. ...сам неподвижный и формы обломистой, как этот серый камень...

... Так он усиделся в своей прогретой окаменелости...» (стр. 360).

Есть в этих сравнениях Олега с камнем (трижды отмеченных), в их единстве несколько аспектов, важных для понимания текста. Олег тверд, как камень. Не случайно в его фамилии присутствует и корень слова «кость»: жизнь заставила Олега как бы глотать кости, справляться с самыми тяжелыми жизненными обстоя-

тельствами. Поэтому-то и сравнение Олега с камнем подходит к общему образу героя, развивает мысль, заложенную в самой его фамилии. В то же время перед нами Олег — физически ослабевший, силы жизни в нем в этот момент не в том напряжении, что были раньше; в нем много неживого, неподвижного, что также содержится в значении слова «камень». Поэтому, мне кажется, что данное описание и сравнение несет в себе по крайней мере двойной заряд и пробуждает в читателе двойной ряд ассоциаций.

Веру, как и других героев «Ракового корпуса», мы видим через восприятие других действующих лиц, чаще же всего через восприятие Олега. Черта, которая больше всего подчеркивается автором в образе Веры, это — легкость: она очень стройна, с очень узкой талией, она — «ласковая, лишь чуть сгущенная из воздуха женщина...» (стр. 367), «легко-сочлененная» (стр. 516), легонькая. И походка ее соответствует всему образу: она «вошла почти не стуча туфлями, не выстукивая каблучками своего «я». ...Никто больше так не ходил» (стр. 365).

Контраст — важное средство изобразительности, и писатель часто им пользуется: духовное и душевное влечение у Олега связано с Верой, что в его понимании не исключает и необходимости физической близости, но все-таки главное в его отношении к ней это — нежность. Второе увлечение Олега — Зоя. Она — плотная, в ней подчеркивается писателем телесное начало, и к ней Олег испытывает только телесное влечение. Оба женских образа гармоничны, автор это подчеркивает; только у Зои гармония — физическая, внешняя: она ладно скроена, ловка, здорова, весела. В характеристике Веры, наоборот, подчеркивается гармония внутреннего и внешнего:

«Она строго это спросила, но странная была у нее строгость, вся пропитанная мягкостью, как все слова и движения

Веры Гангарт. И не расплывчатой мягкостью, а какой-то мелодичной, построенной на гармонии» (стр. 249).

Перед нами — единство душевной гармонии (мягкости) и внешней гармонии (слов и движений).

То, что Олег уделяет такое внимание ногам Веры, казалось, должно было бы опопшлить ее образ, но этого не происходит. Не случилось этого потому, что мысли Олега даже о ногах Веры полны теплоты и нежности. Вот они, эти слова:

«Ее газельи тонкие ноги он заметил еще в первый раз, когда лежал на полу... Ее ноги, ноги ее газельи, он заметил еще в первый раз, в первый раз» (стр. 262).

Дважды повторенная на одной и той же странице тождественная характеристика ног Веры, эпитет «газельи», инверсия, словосочетание «в первый раз», повторенное дважды подряд, — всё это делает мысли Олега о Вере поэтичными; а указанные выше средства выразительности более характерны для стихотворной формы, чем для прозы.

Чувственный земной образ Зои подчеркивается характеристикой ее голоса — «лакомого» (стр. 24), данной дважды: так воспринимается этот голос и Русановым, и Олегом. Эпитет связан с вкусовыми ощущениями, с материальным. Губы же у нее «огневатые» (стр. 193) и «алчные» (там же и на стр. 274). Зоя подобна огню, жадно и горячо охватывающему свою жертву.

Нередко бывает так, что Солженицын при помощи одной внешней черты, зачастую связанной с одеждой и повторяющейся неоднократно, дает меткую и символическую характеристику второстепенному персонажу. Так воссоздается им образ жены Русанова, в нем подчеркивается ее необъятный размер; она, например, занимает всю больничную скамейку, предназначенную для троих (стр. 201). Из этой подробности вытекает и дальнейшее: делается как бы понятным «вызванный

практической необходимостью» донос Русановых на их соседа по квартире с целью освободить еще одну комнату, поскольку для такой обширной Русановой не хватало места в общей квартире. Вот как описывается она Солженицыным: у нее «широкая голова, еще уширенная пышными медными стриженными кудрями» (стр. 9), ее фигура, «объятая по плечам двумя чернобурками» (там же), «казалась втрое мощнее мужа» (стр. 13). Дальнейшие встречи читателя с женой Русанова продолжены в тех же тонах.

Важную роль в таких портретах играет одежда и предметы обихода: они как бы срастаются с героями, выражая их сущность и подчеркивая их незначительное человеческое содержание.

В описании, например, Авиеты, дочери Русановых, достойного продукта воспитания и примера своих родителей, важную роль играет свитер — его описанием сопровождается почти каждое движение девушки; в одежде иронически отражаются также черты ее характера:

«...и была одета Алла смело, гордо, вполне выявляя свою крупную ясную привлекательность, так совмещенную с твердым ясным умом» (стр. 315).

Ирония портрета усиливается и тем, что внешняя характеристика частично дается ее собственным отцом, отмечающим в ней черты, прямо противоположные разговорам, которые она ведет в палате и которые обнаруживают ее приспособленческие взгляды: так, например, у нее

«...прямое честное открытое лицо, такое энергичное, живое, с подвижными ноздрями, с подвижными бровями, чутко вздрагивающими на всякую несправедливость» (стр. 312).

В резком контрасте с этим портретом звучат ее слова о том, что не надо арестованных реабилитировать (невинно арестованных людей, чью жизнь уничтожили ни за что, ни про что такие, как ее отец; была бы новая

возможность, — и Авиета несомненно сделала бы то же самое); ее мысли о карьере писателя (она хочет стать писательницей не по призванию, а потому, что это выгодно); о правде и объективности (что, мол, «суровая правда» в литературе не нужна) и т. д.

В отличие от образа Авиеты, портрет ее брата Юры дан с помощью трижды повторенного слова «молча» и его синонимов; и перед нами возникает как живой юноша с его частичным протестом против отца, его обедненная сущность. Он — как героиня Киплинга:

„Who did not know
(And now — we know that she never could know)
And did not understand“¹⁰.

Эти слова Киплинга поистине можно отнести к Юре Русанову, но, мне кажется, что в отличие от киплинговской героини, он не сделает ни добра, ни зла, просто не будет способен ни к тому, ни к другому. Юра «молча занес ... чемодан»¹¹, «молчаливый сын отвернулся» (стр. 12). «Он всё воспринимал погашенно» (стр. 13).

Страдание Солженицын блестяще передает через позы человека: так предстает перед нами обреченный Азовкин, особенно его губы, которые «не были сведены в один рот, а каждая губа выражала свое отдельное страдание» (стр. 65). Мы видим как бы не одно только страдание, а целую массу их, и не в человеческой власти их побороть, с ними справиться. Своей множественностью они уничтожают человека. Тем же приемом описан мальчик, попавший в лагерь, обессиливший от непомерного труда в невыносимых условиях:

«... а этот третий, птенец, стоял, грудью опершись о лопа-ту, как будто проткнутый ею, свисая с нее, как чучело, белое от снега ... Малой только вздохнул и опал, и еще будто глубже вошел ему черенок в грудь» (стр. 231).

Поза его передает безжизненность и полное безразличие; есть в этом описании и символ: черенок лопа-

ты проткнул грудь мальчика, как проткнула его, уничтожила чужая злая воля. На память невольно приходит блоковский вонзающийся «в сердце — острый французский каблук»¹². Образ черенка лопаты создан по тому же принципу, что и образ каблука: возвышение реального, даже весьма прозаического предмета и его действия до символа гибели.

3. ЖИВОТНЫЙ МИР КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В «РАКОВОМ КОРПУСЕ»

Наряду с другими средствами художественной изобразительности Солженицына, уже упомянутыми мной выше, важную роль в романе играют сравнения, аллегории, сопоставления различных аспектов жизни, характеров и переживаний людей с животными. Большой и разнообразный мир животных встречает читателя в «Раковом корпусе», причем этот мир тесно связан с жизнью человека. Действие одной из предпоследних глав романа происходит в зоологическом саду. Всех зверей, их характеры и положение Олег Костоготов воспринимает двойственно: как зверей и как людей. Как и люди, эти животные находятся в клетках (тюрьмах), они «арестованы» и страдают. Так, например, обезьяны

«... напоминали ему многих прежних знакомых, просто даже он узнавал отдельных — и еще сидевших где-то сегодня»¹³.

Объявление, помещенное возле клетки с совой, в котором было написано, что совы плохо переносят неволю, вызывает у Олега следующую мысль: «Знают же! — и всё-таки сажают!» (стр. 558). Здесь очевидна параллель между людьми и строем, власть имущими и бросаемыми ими людьми в тюрьмы. В клетке прыгает медведь, а Олег воспринимает это как единственно возможный способ для «арестованного» медведя выразить

свое отчаяние. Итак, зоологический сад с его обитателями выступает в романе как некое аллегорическое изображение чувств и положения человеческих узников.

Но не все животные вызывают у Олега такого рода ассоциации: так, например, хищники ассоциируются у него с блатными, а то и хуже — с гонителями. Трудно в следующем описании тигра не узнать главного тюремщика — Сталина:

«Дальше увидел он — господина тигра. В усах, в усах было сосредоточено его выражение хищности! А глаза — желтые... Запуталось у Олега в голове, и он стоял и смотрел на тигра с ненавистью.

Один старый политкаторжанин, который был когда-то в туруханской ссылке... рассказывал ему, что — не бархатно-черные, а именно желтые были глаза!» (стр. 561).

Здесь мы узнаем усы и глаза Сталина, который был в туруханской ссылке.

Интересно, что у Солженицына цвет глаз крепко-накрепко связывается с определенными чертами характера. Желтые глаза (желто-карие) у Зои тоже кажутся, как мы помним, Олегу хищными. Так передано одновременное действие сознания и подсознания: желтый цвет глаз неосознанно напоминает о чем-то хищном (глаза Сталина).

Тема «животные» в объединении с темой «человек» красной нитью проходят через всё произведение. Обе эти темы как бы просвечивают, проверяют сущность людей в жизни. Так, Олег Костоглов, например, «мир зверей ощущал... как-то более понятным, что ли. Более на своем уровне» (стр. 555). Ведь жизнь, которая выпала ему на долю, можно вполне назвать собачьей. Олег, не видевший счастья, мечтает о нем. Как я уже упоминала в первой главе, немудреное, пошленькое счастье благополучия, построенного на чужих слезах, вполне удовлетворяет Русанова и его жену. Но уже для

Шулубина счастье не только невозможно, но и не нужно. В жизни важны иные ценности.

«Не к счастью устремить людей, потому что это тоже идол рынка — «счастье»! — а ко взаимному расположению. *Счастлив и зверь, грызущий добычу* (курсив мой. — Л. К.), а взаимно расположены могут быть только люди!» (стр. 491).

Этими словами Шулубин отвечает на этический вопрос о счастье, его сущности и необходимости.

Животными проверяет Солженицын готовность своих героев и вообще людей достойно, по-человечески принять смерть. Люди, не способные к этому, сравниваются с курами (стр. 115—116). Кроме того, животные помогают автору более наглядно изображать различные жизненные процессы; например, смерть дается автором в образе «виляющей черным телом, уже бьющей хвостом пантеры» (стр. 281), «черной пантеры», загрызающей человека (стр. 502). Перед нами — конкретизированное изображение смерти и одновременно эмоций страха, связанных с нею и ею вызываемых. В теле, которое виляет, есть нечто отталкивающее, вызывающее отвращение; удар хвостом — не прямой, открытый удар; хищная смерть дана в образе хищного животного — пантеры, да еще к тому же черной, цвета траура.

Надежда на выздоровление передается писателем через движение насекомого: мягкое, грациозное и целетельное.

«Движение прошло по палате. Как будто из распахнутой большой книги выпорхнуло осязаемой радужной бабочкой самопроизвольное исцеление... Все молчали, подставляя бабочке лицо...» (стр. 154).

Перед нами очень удачная развернутая распространенная метафора, благодаря которой ощущаешь невесомое движение надежды, присутствие ее. Ощущаешь веру людей в нелогичное, в счастье, которое эта вера дает.

Образы различных героев романа Солженицына дополняются и развиваются с помощью сравнения с ка-

ким-нибудь животным, — и нередко это сравнение проводится на протяжении всей книги. Поведение человека в изменяющихся обстоятельствах показывается с помощью соответствующего «животного» образа. Так, наиболее близок главному герою романа Олегу Костоглотову пёс, с которым он сравнивается; собак он любит. Его движения и их психологическое содержание и объяснение тоже сравниваются с собачьими; это — движения существа сильного, но недоверчивого:

«Костоглотов смотрел непримиримо, как чёрный пес...» (стр. 65). Или: «Костоглотов косился на книгу, как пёс на птичье чучело...» (стр. 526).

Олег не сравнивается просто с собакой, которая может быть и маленькой собаченкой, и пугливой; нет, он напоминает пса, животное сильное, требующее к себе уважительного отношения. Да и не просто пса, а *черного пса*: цвет этот привносит значение серьезности. Есть в романе образ собаки, тоже черно-бурой, тоже огромной, к которой люди в своем большинстве относились так же плохо, как и к Олегу, и которую без вины замучили и убили так же, как это делали и с Олегом, только разве что не успев его довести до смерти. Не случайно присутствует в романе и обратное сравнение: пса по имени Жук — с человеком. Жук — по характеру добродушное животное — умел драться и кусаться, когда этого требовала жизнь, так же, как и Олег; но, как и Олег, Жук сохранил свои качества, свою личность: попав к добрым людям, в хорошие условия, он «быстро перенял абстрактную гуманность как главную норму поведения» (стр. 308).

Друзья Олега, близкие ему по духу, хозяева Жука, «любят в каждом своем звере не шкурку, а личность» (стр. 305). Здесь снова стираются писателем грани между животными и людьми, но одновременно существует в романе стена, и непроходимая притом, между хорошими людьми и животными по одну ее сторону и плохими людьми и животными — по другую. При-

чем отношением к животным измеряются и качества человека. Солженицын пишет:

«Но разлюбив сперва животных, — не неизбежно ли мы потом разлюбливаем и людей?» (стр. 305).

Но вернемся к «собачье-человеческой» характеристике Олега. Олег мечтает:

«...Как собака уходит спасаться, искать неведомую траву, так пойти на целые месяцы в леса...» (стр. 167). Просит он и у врачей: «Дайте мне, как собаке, убраться к себе в конуру и там отлежаться и отлизаться» (стр. 91).

Страдания, которым подвержены как человек, так и животное, объединяет их. Особенно интересно передано в этом смысле отношение Олега к любимой женщине, к Вере Гангарт, Веге. Сравнение с собакой в данном случае помогает Солженицыну выявить преданность, доброту, внутреннюю силу Олега. Эпитеты же, добавленные к этому сравнению, характеризуют отчаянное положение одинокого замученного, не верящего в хорошее существа:

«... лечь к ее ногам как пёс, как битый несчастный пёс. Лечь на полу и дышать в ее ноги, как пёс» (стр. 563).

Трижды повторенное сравнение делает очень доходчивой рвущуюся прямо из сердца мольбу этого человека, который мог быть таким добрым, сильным и счастливым!

Есть в романе и еще одна собака, которая не только трижды сравнивается с человеком, но и ведет себя, как человек, да и то не всякий, а так, как *должен был вести себя человек*: вежливо, ненавязчиво, с достоинством. Идет этот пёс «задумчиво» — эпитет «человеческий». Мы читаем о нем: «... как разумного человека с печальными глазами, его невозможно было пугаться» (стр. 473). А ведь очень многих в галерее показываемых Солженицыным людей возможно и должно пугаться! Это люди — неразумные, в отличие от собаки они причиняют зло как другим людям, так и животным

из корыстных мелких соображений или «просто так». Последний мотив повторяется в книге дважды, становясь ответом на один из самых жгучих ее вопросов. Дважды иллюстрируется данная тема злом, причиняемым дурным человеком животному.

«Жившая здесь обезьянка ослепла от бессмысленной жестокости одного из посетителей. Злой человек сыпнул табака в глаза макаке-резус'.

И — хлопнуло Олега! ... захотелось завопить, зареветь на весь зоопарк, — как будто это ему в глаза насыпали!

Зачем же?!. Просто так — зачем же?... Бессмысленно! — зачем же?» (стр. 560). Этот же вопрос встречаем мы и в другом месте книги:

«Вот и собаку убили.

Зачем?» (стр. 456).

В страдании и человек, и животное равны. Поэтому-то и у пса с человеческим характером, принадлежащего доктору Орещенкоу, глаза «печальные», а сам он задумчивый. И все-таки Добро, которое символически изображено в этом псе, успокаивает, освежает человека, не в пример обществу некоторых людей.

Тему «человек—животное» можно проследить и на других примерах. Олег вспоминает поговорку «мягкое слово кость ломит» (стр. 455), в связи с которой он узнает о древнем сказании о Китоврасе, — о том, как сломал он себе ребро, лишь бы не повредить домика вдовы.

«И вот размышлял теперь Олег: этот Китоврас и эти писцы пятнадцатого века — насколько же они *люди* были, а мы перед ними — *волки*» (курсив мой. — Л. К., стр. 456).

Вопрос морали, норм поведения человека дан с помощью животного.

Слово «грызет» связано чаще всего с животными, у Солженицына же им характеризуется человек, как бы приравниваясь к животному в отличие от растения:

«У человека — зубы, и он ими грызет, скрежещет, стискивает их. А у растений вот — нет зубов, и как же спокойно они растут, и спокойно как умирают!» (стр. 278).

Мы здесь снова сталкиваемся с понятием «спокойствие», которое было подчеркнуто в человекообразной собаке; оно отмечается и как нечто, чему человек может позавидовать даже растениям, чего человек может пожелать себе — спокойного отношения к жизни и смерти.

Интересно обыгрывание имени Зоя, напоминающего Олегу о зоо, зоологии, животных. Олег спрашивает Зою, не чувствует ли она иногда своей близости к ним. Ответ героини очень точно характеризует ее: «Все мы немножечко им близки. Добываем пищу, кормим детёнышей» (стр. 195). Это верно, что касается человека вообще, но для Зои это как бы составляет содержание всей ее жизни. Не случайно Олег сравнивает ее с пчелкой, трудолюбивой, хозяйственной. Куда Зое до «трансцендентной отрешенности» (стр. 473) собаки доктора Орещенкова.

Стоит отметить еще ряд образов героев, сопровождаемых «животными» сравнениями. С этой точки зрения интересен также образ Шулубина, сломанного всем советским режимом. Вначале он воспринимается Русановым как филин или сыч; такая характеристика его вызывается неловкой молчаливостью Шулубина, которая чем-то мешает Русанову и подобным ему людям с их нечистой совестью: за ней мнится им нечто их разоблачающее. Олег тоже сравнивает Шулубина с птицей, и сравнение это, повторяясь несколько раз в небольшом отрывке, перерастает уже в метафору. Но это сравнение совсем иное: Шулубин напоминает Олегу «большую птицу — с крыльями, обрезанными неровно, чтоб она не могла взлететь» (стр. 359). Это сравнение сразу придает образу Шулубина глубокий трагизм. Что может быть трагичнее птицы, прикованной к земле?

Птицы большой, сильной, умной, с обрезанными крыльями! Над этим злым делом кто-то чудовищно безжалостный, бессердечный достаточно потрудился, да и цель при этом поставил заранее.

Повторение этого сравнения усиливает эмоциональное влияние образа, и дано оно трижды. Не случайно так представлен Шулубин во время тяжелого и серьезного разговора с Олегом о судьбах страны. Образ Шулубина — птицы с подрезанными крыльями — поднимается до символа не только трагической судьбы самого Шулубина, но и всей России, всего русского народа. Шулубин «сидел, как на насесте крупная неуседливая птица» (стр. 480), читаем мы дальше. Неуседливая птица, которой летать нечем. Невольно вспоминается при этом горьковская строка: «Рожденный ползать — летать не может!..»¹⁴ Каково же **рожденному летать** Шулубину, у которого страшная действительность отрезала крылья? И еще раз звучит этот трагический аккорд:

«... и опять это походило на кривые неловкие попытки взлететь у птицы, по крыльям которой прошлись расчлененные ножницы» (стр. 483—484).

Другой образ — Вера Гангарт, любимая Олегом, сравнивается с газелью; такой видит ее Олег в больнице: у Веры «газели тонкие ноги» (стр. 262). Затем в зоологическом саду антилопа нельгау не только всем своим обликом напоминает Веру, но она смотрит на героя «милыми глазами», «мило-укоряющим взглядом» (стр. 562). В нее как бы переселяется душа Веры. Легкость, душевная чистота, ласковость героини передаются при помощи данного сравнения.

В отличие от Веры образ мужественного сильного хирурга Льва Леонидовича дан через сравнение с обезьяной:

«...увидела ... крупную сильную и милосмешную фигуру гориллоида — Льва Леонидовича...» (стр. 387) — читаем мы. И еще о нем же: «... волосатые обезьяньи руки» (стр. 337).

Следующая «животная» метафора относится и к Олегу, и к Льву Леонидовичу: руки их обоих Солженицын часто называет лапами (стр. стр. 41, 393, 252). С помощью этой метафоры усиливается гармония между обоими образами и подчеркивается то общее, что есть у этих людей с такой непохожей судьбой.

До сих пор говорилось об обрисовке образа героя с помощью сравнений из животного мира. Стоит обратить внимание на отдельные «животные» метафоры и эпитеты, характеризующие, например, движения разных героев. Десятки верно подмеченных особенностей движений животных помогает автору передать как внешнее движение человека, так и его внутренний психологический подтекст. Например: мальчик Дёмка «ногу поджал, как котёнок...» (стр. 52); «стал тыкаться, как поросёнок...» (стр. 439). Оба сравнения передают детскость, незащитность Дёмки. Хоть и рано повзрослел Дёмка, но движения его выдают его сущность несправедливо обиженного ребёнка.

В отличие от него Ася, до сих пор черпавшая жизнь полной мерой, в которой страдание разбудило всю силу чувства, неведомую ей раньше, «взвилась... рассерженно, как лошадь взвизгивает с передних...» (стр. 438). Сопоставим это сравнение с другим, с помощью которого описывается пожилая санитарка. «Как кобылка, туго занузданная, стареющая санитарка поводила головой вверх и вниз...» (стр. 531). Девочка сравнивается с норовистой лошадью, а пожилая, много пережившая женщина, — с взнузданной кобылкой. У санитарки, несмотря на ее очень тяжелый жизненный опыт, — отношение к жизни чище, чем у Аси.

Солженицын, сравнивая человека с животным, не боится употреблять и распространенные сравнения, только делает он это очень кстати. Нередко такое обычное сравнение помогает передать писателю трагизм положения человека. Так, о деятельном, сильной воли

враче Донцовой мы читаем: «Первое приятие болезни раздавило ее, как лягушку» (стр. 494). От раздавленной лягушки остается нечто страшное, такими же страшными оказались и изменения, произошедшие с Донцовой. Следующее сравнение уже менее обычно: «...рабочие мысли еще вились вокруг ее (Донцовой. — Л. К.) головы, как пчёлы...» (стр. 109). О мыслях обычно говорят, что они гнездятся, находятся внутри головы, а не вокруг, вне ее. Это движение пчёл-мыслей *вокруг* головы подчеркивает, во-первых, их движение-наличие, не признающее ни положенных часов, ни отведенных им границ (поэтому и *вокруг* головы), во-вторых, — движение настойчивое, постоянное, поскольку с пчелами связано представление о трудолюбии, о непрерывном собирании мёда.

Животное-символ тоже имеется в «Раковом корпусе», причем символика его усиливается эпитетами, часто отвечающими требуемой от символа эмоции, а не самому образу животного. Таков «какой-то серый,дохлый, но всё растущий змей» (стр. 585), символизирующий то страшное, тягучее, мучающее, что могло возникнуть, по мнению Олега, между ним и Верой, если бы они стали жить вместе.

Есть у Солженицына также и сказочные сравнения человека с животным, что расширяет значение образа, обогащает его эмоциональностью сказки. Например: «Так они (Вадим, Олег и Шулубин. — Л. К.), как три цапли из сказки, могли очень подолгу молчать» (стр. 421). Тяжелое молчание героев делается более лирическим благодаря этому сравнению. Оно, как в сказке, будто заколдованное, будто ждущее чуда.

Эпитеты и глагольные метафоры, взятые из животного мира, помогают Солженицыну создавать сложные образы его героев и рисовать жизнь в ее противоречиях. Так, например, жена Русанова, советского хищника, — «медногривая» (стр. 510), она трясет «своей

завитой львиной прической медного цвета» (стр. 210). В противоположность ей у Веры и Зои все порхает: руки, ресницы (стр. стр. 375, 520). А Костоготов — урчит.

Итак, роль «животных» образов в «Раковом корпусе» многообразна. Из нее черпает Солженицын одно из многочисленных своих средств художественной изобразительности.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Собрание сочинений в шести томах. Том четвертый, стр. 169. Изд-во «Правда», Москва, 1969.

² М. Ю. Лермонтов Стихотворение «И скушно и грустно». Полное собрание сочинений в четырех томах. Том первый, стр. 46. Государственное Издательство Художественной Литературы, Москва - Ленинград, 1948.

³ Там же, стихотворение «Ангел», стр. 223.

⁴ Л. Н. Толстой Война и мир. Собрание сочинений в четырнадцати томах. Том шестой, стр. 216. Государственное Издательство Художественной Литературы, Москва, 1951.

⁵ Александр Солженицын. Раковый корпус. Собрание сочинений. Том второй, стр. 149. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1969. Указанные дальше в тексте страницы в скобках относятся к этому же изданию.

⁶ И. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том первый, стр. 466; том пятый, стр. 314.

⁷ А. Солженицын. Раковый корпус. Стр. 301.

⁸ Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений. Том седьмой. См. также статью Ю. Тынянова «Достоевский и Гоголь» в книге «О Достоевском». Brown University Press, 1966, p. 169.

⁹ А. Солженицын. Раковый корпус. Стр. 358.

¹⁰ Р. Киплинг. Стихи. Стр. 108. Перевод с английского: «Та, которая не знала (а теперь мы знаем, что она никогда не могла знать) и не понимала».

¹¹ А. Солженицын. Раковый корпус. Стр. 11.

¹² Александр Блок. Стихотворение «Унижение». Собрание сочинений в восьми томах. Том третий, стр. 31. Государственное Издательство Художественной Литературы. Москва - Ленинград, 1960.

¹³ А. Солженицын. Раковый корпус. Стр. 559.

²⁴ М. Горький. «Песня о соколе». Избранное. Стр. 70. Государственное Издательство Художественной Литературы. Москва, 1944.

Замолчанное произведение Зинаиды Гиппиус

Блестяще написанная, остроумная статья Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869 — 1945), одного из ранних русских поэтов-символистов, — «Роман о мистере Уэллсе» — печатается здесь впервые. Написана она была в начале двадцатых годов по поводу посещения России английским писателем и публицистом Гербертом Джорджем Уэллсом (H. G. Wells, 1866 — 1946) в 1920 году. Проведя в Москве и Петербурге около двух-трех недель, по возвращении в Англию знаменитый писатель опубликовал книгу «Russia in the Shadow» (русский перевод «Россия во мгле», 1922), в которой заявил, что только большевики способны управлять Россией с ее темным, невежественным населением.

Гиппиус, возмущившись заявлением английского публициста, написала против его книги и против содержащейся в ней интерпретации русского народа и якобы гуманного советского правительства целый ряд статей. Русская пресса во Франции, однако, считала в те годы более благоразумным не печатать патристических произведений знаменитой поэтессы. Ее «Роман о мистере Уэллсе» поэтому остался ненапечатанным. В «Романе» проходят вереницей старые «враги» писательницы: Максим Горький и его de facto жена, актриса Мария Федоровна Андреева (Желябужская), которых Гиппиус не жаловала за их шумные претензии на «эстетство» и «европейскую культуру»¹, Зиновьев, Зорин, председатель Чрезвычайной комиссии Урицкий, убитый 30 августа 1918 г. петербургскими социал-революционерами, и «оборотень-Тришка» — Ленин. С другой стороны, Гиппиус останавливается на участии некоторых своих друзей в атмосфере послеоктябрьского Петербурга: Александра Бенуа (1870 — 1960), знаменитого художника и критика, связанного с дягилевским журналом «Мир искусства» и с русским балетом в Петербурге и Париже; профессора Федора Дмитриевича Батюшкова (1857 — 1920), историка русской литературы, критика и редактора жур-

нала «Мир Божий» в годы 1902 — 1906; Александра Амфитеатрова (1862 — 1923), фельетониста и беллетриста, одного из основателей в 1916 г. газеты «Русская воля», заключенного в тюрьму за его открытые обличения Ленина и большевиков и позже эмигрировавшего в Италию; Александра Васильевича Пошехонова (1867 — 1933), политического деятеля и критика, автора воспоминаний «Мои отношения с Азефом»² и «Перед красным террором»³; барона Нольде, Бориса Эммануиловича (1876 — 1948), историка и адвоката, вместе с В. Д. Набоковым написавшего текст отречения от престола Николая II в марте 1917 г., автора многих произведений на русском, французском и английском языках.

Некоторым из своих «врагов» в тексте «Романа о мистере Уэллесе» Гиппиус дает короткие, но необычайно меткие характеристики, которые всегда хорошо ей удавались. Большой интерес представляет также ее яркая картина жизни Петербурга послереволюционного периода с грабежами, голодом, террором и полным произволом нового правительства. Так, она говорит об аресте министров Временного правительства, заседавших в Зимнем дворце в ночь с 25 на 26 октября (по старому стилю), и заключении их в казематы Петропавловской крепости, где находились в то время и министры Николая II (например, Щегловитов, министр юстиции; Сухомлинов, военный министр; Пуришкевич, предводитель монархической партии в Думе, и т. д.). Министры кабинета Керенского Шингарев и профессор Кокошкин, доставленные из Петропавловской крепости под конвоем в Мариинскую больницу по состоянию здоровья (туберкулез легких в последней стадии), в тот же вечер были убиты ворвавшимися туда большевиками. В Петропавловской крепости, кроме того, находились министры Авксентьев, Терещенко, Кишкин, Бернацкий, кн. Долгорукий, возглавлявший партию конституционных демократов; Пальчинский, последний военный губернатор Петербурга; Петр Моисеевич Рутенберг, социал-революционер и террорист, один из организаторов убийства Гапона после того, как обнаружилось, что последний был агентом-provокатором; Антон Владимирович Карташев, министр вероисповедания в кабинете Керенского, и многие другие⁴.

ЗАМОЛЧАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ З. ГИППИУС

В тревоге за судьбу министров в Петропавловской крепости, сидящих, по ее словам, «под ежеминутной угрозой самосуда пьяных матросов», «озверение которых растет по часам»⁵, в «этой матросско-большевистской цитадели»⁶, Гиппиус обратилась за помощью к Горькому, как она поступила и по поводу умиравшего с голода В. В. Розанова⁷. Отказав в помощи министрам (Розанову он помог), Горький ответил Гиппиус: «Я... органически... не могу... говорить с этими... мерзавцами... С Лениным и Троцким»⁸. Из цензурных соображений Гиппиус опустила имена Ленина и Троцкого в «Романе о мистере Уэлльсе», хотя одно из них здесь упоминается, когда Гиппиус пишет, что вскоре после 1917 г. Горький, «человек без убеждений», изменив свое отношение к Ленину, «разговаривает с Лениным, не только приезжая к нему в Москву, но даже во время разлук, по телефону из Петербурга и зовет его ласково 'Ильичем'». Ленин же дружелюбно беседует с американским банкиром Франком Артуром Вандерлипом (Frank Arthur Vanderlip, 1864 — ?), автором многих произведений об образовании, международной торговле, банковому делу, коммерции, иностранной политике и т. д., приехавшим к Ленину для обсуждения экономического развития нового советского государства.

В «Романе о мистере Уэлльсе» мы находим также некоторые из любимых мыслей поэтессы, как, например, о необходимости непрестанной борьбы человека с ложью во имя Истины, о необходимости любви и верности по отношению к России и веры в ее правду. Только такая борьба, «воистину последняя, борьба с Ложью на жизнь и смерть», предупреждает Гиппиус, верная последовательница метафизической философии Достоевского, может спасти безбожное человечество от его неминуемой гибели.

«Роман о мистере Уэлльсе», таким образом, представляет собою документ большого историко-литературного значения. Рисуя яркую картину жизни русской столицы после Октябрьской революции 1917 г., «Роман о мистере Уэлльсе» дает нам также представление об облике самой Зинаиды Гиппиус, не-исправимой идеалистке, горячей патриотке земли русской, верящей в возможность духовного возрождения русского народа.

Ее раздумья о человеке и его свободе в свете любви Иисуса Христа и легли в основу всего ее художественного творчества — ее эстетики, религии и общественно-политической мысли.

Текст «Романа о мистере Уэллсе» печатается здесь по новой орфографии.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. больше о взаимоотношениях З. Н. Гиппиус и Горького в книге Temira Pachmuss, „Zinaida Hippus: An Intellectual Profile“, Southern Illinois University Press, 1971, стр. 311-321, и статью Temira Pachmuss, „Zinaida Hippus as a Literary Critic, with Particular Reference to Maksim Gor'kij“, The Canadian Slavonic Papers, VIII, 1965, стр. 127-142.

² «Голос минувшего: на чужой стороне», № 5, 1924, стр. 51-70.

³ Там же, № 2, стр. 200-220.

⁴ См. больше об этом событии в книге Pitirim A. Sorokin, „Leaves from a Russian Diary — and Thirty Years Later. Boston: The Beacon Press, 1950, стр. 121-123; З. Н. Гиппиус, «Синяя книга: петербургский дневник 1914-1918», Белград, 1929, стр. 214-233.

⁵ «Синяя книга», *op. cit.*, стр. 223.

⁶ Там же, стр. 229.

⁷ См. З. Гиппиус, «Живые лица». Прага, 1925, II, 82-83.

⁸ «Синяя книга», *op. cit.*, стр. 233.

Роман о мистере Уэллсе

Ответ Mr. Черчилля в «Sunday Express» на книгу Уэллса о России полон умного и сдержанного достоинства, а, главное, той человеческой правды, от которой мы давно отвыкли. М-р Черчилль не был в большевицкой России и 16-17 дней, не знает, вероятно, и тех трех-четырёх русских слов, которые удалось выучить г. Уэллсу. А между тем о России он знает и говорит всё, что знаем и говорим мы, — не последние русские писатели, прожившие с большевиками вплотную три года, в самом Петербурге. Это еще раз доказывает, что явление большевизма вовсе не явление специфически-русское; внутреннее грязное дело «грязного и глупого» (по выражению Уэллса) русского народа. Достаточно человеческого здравого смысла, обыкновенной честности, чтобы понять это явление и громко, ответственно определить его.

Слова м-ра Черчилля, повторяю, полны сдержанности и достоинства; он почти не полемизирует с Уэллсом; как бы слегка даже отстраняет его, говорит о деле, — о большевиках, — о том, что ныне называется «Советским правительством». Для многих из нас, — не одних русских, но и французов, и других иностранцев, для всех нас, знающих большевизм, — эти слова, произнесенные устами англичанина, были облегчением и в том смысле, что сняли с нашей души тяжелое подозрение: уж не типичен ли для Англии Уэллс? Не большинство ли в современной Англии — вот такие Уэллсы?

Мне, впрочем, уже давно казалось, что Уэллс — тип скорее всемирный, притом довольно часто встречающийся. Горький, например, которого я лично знаю лет двадцать, того же типа. Это не мешает Горькому

быть русским до мозга костей, как Уэлльсу — англичанином с головы до пят.

Для русского писателя изучение этого типа в английской одежде представляет особенный интерес.

И я предлагаю читателям, имеющим воображение, сделать со мною художественную экскурсию. Ведь иногда художественный подход открывает нам глаза на самые конкретные тайны действительности. Я предлагаю взглянуть на книгу путешествия в Россию Н. G. Wells'a — как на роман. Кто-то написал роман, взял в обстановке, гениально приготовленной самой жизнью, главным героем романа англичанина и назвал его «мистером Уэлльсом». Неизвестный автор, конечно, занят всецело своим героем. Ему важно нарисовать его наиболее яркими чертами, важно преломить действительность сквозь него. Ведь мы, в художественном произведении, не рассказываем о людях, а стараемся показать их действующими или говорящими...

Но прежде, чем передать в кратких словах содержание «романа о мистере Уэлльсе», я упомяну, что уже есть и продолжение: герой «Путешествия в Россию» на «Reply» Черчилля мгновенно написал тоже ответ. Ответ пространный, — газета принуждена была даже напечатать его мелким шрифтом, — и, Боже мой, какой это художественный ответ! Всемирный тип в нем так ярок, что заглушены чисто английские черты, — сдержанность и вежливость. Герой романа, м-р Уэлльс, жестоко обиделся на ту неуловимую снисходительность, с которой м-р Черчилль отстраняет его, говорит не о нем, а о деле. Обидевшись, мистер Уэлльс ослеп, потерял дар слова и, естественно, забыл, что он культурный европеец. Мне редко приходилось встречать в европейской печати статью более дурного тона, более личную и потому столь жалко-беспомощную. По существу о ней сказать нечего, и я перехожу к короткому пересказу «романа о мистере Уэлльсе».

Герой — человек, конечно, самый передовой. Он социалист. Он революционер. Он — художественная натура, любопытен ко всему необыкновенному. В России, этой далекой, экзотической стране, происходит необыкновенная социалистическая революция. Буржуи (мистер Уэлльс, конечно, ненавидит всей душой буржуев) говорят, что там нет социализма и уже давно нет никакой революции; но на то они и буржуи! У мистера Уэлльса, кстати, оказываются в необыкновенной среде знакомства: экзотический друг Максим Горький. Это очень удобно; да и охрана, в случае чего...

Заручившись такой протекцией, запасшись родными фунтами и обещаниями, одетый в наилучший, самый практичный и добротный дорожный костюм, мистер Уэлльс отправляется в путь.

Он сознает себя отважным путешественником. Он понимает, что ему надо будет перенести лишения комфорта, и хотя, конечно, он взял с собой «tub»*, — придется ли пользоваться им каждый день? Но он готов на всё. Он любопытен и смел, да добрый Горький, который «страшно любит» европейскую культуру, конечно, примет его как следует.

Действительно. Далекая страна социалистических «людоедов», точнее — ее «правительство» приняло именитого изыскателя с распростертыми объятиями (это Ллойд Джордж провел параллель между «советским правительством» и людоедами). Мистер Уэлльс был тронут. Но он, конечно, заранее решил быть беспристрастным, строгим, высказать потом всю «правду», только правду своей души... И прием не мог его подкупить.

На минутку он поморщился, когда ему предложили помещение в лучшем коммунистическом отеле... Но Горький тотчас же забежал, взял его к себе, в свою теплую, уютную квартиру, доверху полную произведений искусства, скупленными за-дешево у «буржуев».

* Лоханка для купанья (англ.). — Р е д.

Она у него совсем похожа на музей... или на лавку старьевщика.

За мило убранным чайным столом, под лампой, в обществе Горького и его (тогдашней) жены Андреевой (комиссара всех театров и, с прошлой осени, «министра торговли и промышленности») — мистер Уэллс «по душам» разговаривает со всеми знаменитыми представителями власти «Советов» и Чрезвычайки. От Зиновьева и Зорина он прямо в восторге. «Мой друг Зорин... Мне не хотелось бы его обидеть»...

Не только у Горького, конечно, искренно и откровенно болтает мистер Уэллс с носителями власти; он только и делает, что везде болтает с ними. О, по-прежнему тверда его прямая, правдивая линия! Он не останавливается перед высказываньем своих мнений в глаза всем начальникам коммуны. Ужасное разрушение! В каком виде улицы Петербурга! Какой недостаток продовольствия у жителей!

Но мистер Уэллс приятно удивлен: честные и простодушные правители не спорят, соглашаются. «Да, мистер Уэллс, ужасно! Мы сами видим. Но вспомните, мистер Уэллс, — блокада! Ваша же блокада!»

М-р Уэллс краснеет от стыда и возмущения. «О, да! Как это справедливо! Но неужели они думают, что передовой англичанин может быть за бесчеловечную блокаду революционной страны?»

Всё больше убеждается мистер Уэллс, как честно правительство, главари которого бессменно с ним беседуют. «Главное — честно!» — настаивает он. — «Неопытно, конечно, и очень простодушно. Не верх ли простодушия — этот постоянный вопрос: 'Скоро ли наконец будет у вас, в Англии, революция?' Я им пытался возражать, что, по-моему, у нас не будет революции, объяснял, почему, — нет, всё свое!»

Новые друзья исследователя везут его по всем богадельням: в приют науки, в приют искусств. Там призреваются остатки буржуазных ученых, буржуазных

писателей, музыкантов и т. д. Честное правительство хочет не ударить лицом в грязь, велело собрать на смотр всех. И вот, мистер Уэлльс в положении столичного ревизора, осматривающего сибирские тюрьмы в сопровождении местных властей. Он это понимает. Он так и говорит, что, мол, мое появление, человека свободного (сытого и одетого), было неожиданно для этих людей: «Я был этаким 'вечерним гостем', постучавшимся в 'тюремную камеру'».

Ему нравится быть «лучом света». Он сентиментален и легко умиляется, как над собой, так и над другими. Он со слезой описывает этих «несчастливых» людей, полумертвых заключенных, и высказывает несколько глубокомысленных суждений: «Нет, люди науки и искусства слишком хрупки! Трудно им жить в атмосфере революции, даже и при таком честном правительстве! Оно заботится о них, — вон даже в одном из приютов устроило парикмахерскую, специально для ученых, — но все-таки революция! И блокада! Нет, не выжить им, бедняжкам!»

Известно, что высокий посетитель, осматривающий тюрьмы, обращается к арестантам: «Кто имеет претензию?» Известно также, что ни один опытный арестант никогда никакой претензии не заявит. Он знает, что посетитель уедет, а свое начальство останется.

Но русские интеллигенты не все еще научились тогда уму-разуму. Доказательство — писатель, слава Богу, ныне здравствующий в Италии Амфитеатров. Он бросился к «лучу света», стал пытаться что-то сказать, что-то показать... Но высокий гость даже не дослушал претензий. Местные власти оттерли просителя, заметив, кстати, и неудовольствие на лице нашего героя.

«Ужасно неприятно!» — жалуется мистер Уэлльс. — «И чего он? Другие гораздо благороднее держали себя. Расспрашивали о движении науки в Англии...»

Маленькую эту свою неприятность мистер Уэлльс скоро забыл, но тюремщики не забыли: беспокойный

арестант, писатель Амфитеатров, немедленно после отъезда «вечернего гостя», был схвачен и препровожден куда следует.

Шли, однако, дни. Каждый лишний день тесного контакта с властями укрепляет мистера Уэллса в его первоначальной догадке: это честные, энергичные люди; еще неопытные, простодушные, — но, главное, — честные!

Мистер Уэллс тем более доволен своим беспристрастием, что тут же смело объявляет: он — не марксист. Ему всегда, до отвращения, не нравилась... борода Маркса. Мало того, он и не коммунист.

«Совершенно так же не коммунист, как и Максим Горький».

Одно мое воспоминание о мистере Горьком как будто подтверждает эти слова мистера Уэллса.

Тотчас после большевицкого переворота, мы, встретив Горького, стали просить его ходатайствовать о министрах, брошенных в Петропавловскую крепость. Были тут и несчастные жены заключенных. Горький упрямо и угрюмо отказывался. Помню, что этого почти нельзя было выдержать. И пришлось прямо кричать на него:

«Да ведь вам это ваша собственная совесть приказывает! Вы лично знакомы с Лениным и другими. Почему вы им не скажете хотя бы слово?»

На это Горький глухо, угрюмо, отрывисто, точно лая, произнес:

«Потому что... я с этими... мерзавцами... совсем... разговаривать не могу...»

Это было 4 ноября 1917 года. Теперь Горький разговаривает с Лениным, не только приезжая к нему в Москву, но даже, во время разлук, по телефону из Петербурга и зовет его ласково «Ильичем».

(За сколько времени до посещения г-на Уэллса?)

А все-таки правда, ни Горький, ни м-р Уэллс — не коммунисты. Почему же? Да просто потому, что тип, к которому оба они принадлежат, не способен ни на

какой «изм». Это художественный тип человека, не имеющего «убеждений», ни ложных, ни верных, а живущего «по настроению» данного момента. Тип безответственный.

Но вернемся к нашему герою — англичанину.

На десятый, приблизительно, день своих бесед с «русскими властями» мистер Уэлльс уже составил себе полное мнение не только о данном положении России и ее данном правительстве, но о России вообще, в ее целом, о ее истории, о ее народе.

Выводы мистера Уэлльса ярки и определены. Главный: никакое правительство, кроме большевицкого, ныне существующего, в России невозможно. Это «честное и простодушное правительство правит Россией именно так, как для нее требуется, и сидит крепче любого европейского».

Свой вывод мистер Уэлльс основывает на всяких «фактах», узанных им в России. Например, маленький «факт» из частных: прекращение уличных грабежей. «Едва взяло власть это энергичное правительство», говорит м-р Уэлльс, «и улицы русских столиц сделались столь же безопасны, как улицы любой столицы в Европе».

Откуда м-ру Уэлльсу знать действительные факты? А они были таковы: в продолжение всего 1918 года, начиная с конца 17-го (большевицкий переворот), грабежи оставались перманентными. Почти все интеллигенты, рисковавшие выходить в сумерки, испытали это удовольствие. Художник Бенуа был оглушен и ограблен. Профессор Батюшков (скоро умерший) был ранен и брошен раздетый на льду. Известная актриса, возвращаясь с матерью из театра, получила удар в лицо. Сорвали пальто. То же у писателя Пошехонова. Даже, к нашему удовольствию, раздели комиссара Урицкого на Моховой. Слишком долго пришлось бы перечислять примеры. Это целая статистика. И так длилось год (на наших глазах) и кончилось же тогда, когда стало некого

грабить. Все, неспособные учинять грабежи, дневные и ночные, уже ограблены. Большинство из них, при этом, убито. Улицы, действительно, казались спокойны. По ним некому ходить. Грабители ездят, в собственных экипажах. Их, сравнительно, мало, награбленного много; еще не доделили и потому пока не грабят друг друга.

Фактов, повторяю, именитый англичанин не мог знать; честные друзья ему не сказали... Но только м-р Уэллс мог не сообразить, что власть, вступающая на трон с лозунгом: «Грабь... награбленное», — логически должна поощрять, а не уничтожать грабёж. Нельзя же им прекращать грабежи, *принципиально* поддерживая, строя ступени к власти именно на грабеже.

Но у м-ра Уэллса нет логики, как нет «убеждений». М-р Уэллс доверчив к друзьям. Они так ценят его, так милы с ним... И уж эти ли русские люди не знают свою Россию? М-р Уэллс расспрашивал их, да и сам наблюдал русский народ, в «совете», например, или около Иверской (еще была) в Москве. И вот что он таким образом узнал.

Русский народ, вся его масса — это сплошь грязное, глупое, безграмотное стадо, не имеющее ни о чем ни малейшего понятия и само не знающее, чего хочет. Русский народ груб и грубо материалистичен. Никакой духовности, никакой религии у него не было, как нет. Они только идиотски лижут свои иконы. Русский священник — что это? Это тот же грязный и глупый мужик, совершенно такой же, как все другие...

И м-р Уэллс вновь и вновь утверждает свой заключительный вывод: единственно возможное правительство для подобного народа — вот именно это, энергичное, честное, просвещенное, строгое, но попечительное, — правительство Ленина и Троцкого. И не достойно ли уважения оно, взявшее на себя подвиг обламывания этих грязных скотов?

Удовлетворенный петербургскими впечатлениями,

наш путешественник любопытствует, однако, насчет Ленина. Быть в Риме и не видеть папы!

И м-р Уэллс едет в Москву. Это последняя глава первой части романа, не менее остальных художественная. В ней очень интересны чисто английские черты героя. Тип всемирный, но англичанин данного типа все-таки англичанин.

Оказывается, получить аудиенцию у Ленина труднее, чем у папы. Волокита, которую проходит м-р Уэллс, начинает не на шутку раздражать его. Как, с такими связями, такой протекцией, — и такая возня? Тут еще столь мало комфортабельное путешествие до Москвы! Английские привычки его дают себя знать. Фыркает он и на помещение в Москве, где нет квартиры Горького и где его поселили в «отеле для знатных иностранцев», — «с часовыми у дверей».

Но тут внимание его отвлекается встречей с мистером Вандерлипом. Знаменитый американец покуривает сигару, болтает с мистером Уэллсом о посторонних вещах и являет вид человека, крайне довольного ходом своих дел.

М-р Уэллс чувствует атмосферу и взволнован, — полусознательно, быть может, он, при всем своем социализме, конечно, патриот, в самом английском смысле. Что тут делает Америка? Почему м-р Вандерлип так доволен? О, конечно, мистеру Уэллсу нет до этого дела! Он настаивает, он повторяет, что ему всё равно, что он «по темпераменту нелюбопытен»... Он никого не спрашивал, но ему говорили, конечно... Ему очень много говорили о том, что тут делает Америка...

Как нарочно, всё дальнейшее только усугубляло волнение м-ра Уэллса и направляло его мысли в одно и то же русло.

Многотрудное свидание с папой-Лениным состоялось, наконец.

Вот фотография, — точно картинка! Взгляните на нее. Освещенное, искаженное странной гримасой-ус-

мешкой лицо Ленина, странно напоминающее не то лицо орангутанга, не то, выражением лика, старца Распутина. И на первом плане — без тени улыбки профиль упитанного англичанина, — буржуа «*ne plus ultra*»* — с шеей, говорящей о целом ряде кровавых бифштексов. Англичанин сидит, словно вкопанный. Он слушает, он наблюдает, он умозаключает.

Самое потрясающее в этом свидании было то, что, по словам м-ра Уэллса, — Ленин... проговорился! Напрасно удерживал его, на русском диалекте, приставленный для этого коммунист. Ленин не обращал внимания и всё дальше и дальше проговаривался. Он целую пылающую речь произнес перед м-ром Уэллсом — об Америке. Америка поняла. Америка идет навстречу. С Америкой Россия... и т. д. и т. д. И когда Европа уразумевает, что она потеряла, в особенности Англия! Будет уже поздно...

М-р Уэллс не сознается, да, вероятно, и не сознает — но он потрясен этими откровениями. Он пытается свернуть разговор на другое, хочет «объективно» наблюдать Ленина, — напрасно! Факт увлечения Ленина Америкой, факт присутствия мистера Вандерлипа, загадочного и довольного, приковывает всё внутреннее внимание мистера Уэллса.

«Признаюсь, идя к Ленину, я был предубежден против него», говорит м-р Уэллс, «но я вынес совсем неожиданное впечатление, и мы тепло с ним простились...»

Надо сказать, что тип, к которому принадлежит м-р Уэллс, вообще неспособен к самокритике, к улыбке над собой. Герой нашего романа так полно, так совершенно доволен собой и своим (в этом смысле он и патриот), так искренно и, пожалуй, простодушно самоуверен, что усомниться в чем-либо, от него идущем, ему до смерти не придет в голову. М-р Уэллс только пожал бы плечами, если бы сказать ему: а вдруг Ленин

* до крайних пределов (латин.). — Ред.

и не думал «проговариваться», а просто обвел его слегка вокруг пальца, небрежно сказал то, что счел небесполезным, раз уж этот английский буржуй сюда влез? М-р Уэллс только удивился бы, если бы кто-нибудь сказал, что предавать поруганию всё равно какой народ, целый народ, — по меньшей мере некультурно, а делать это лишь на основании сведений, полученных от «людоедов», по выражению Ллойд-Джорджа, — кроме того, и глупо. Да, он только удивился бы... И в этом опять совершенство типа — эстетика героя романа «Путешествие в Россию»...

Свиданием с Лениным первая часть романа, в сущности, кончается. М-р Уэллс изо всех сил заторопился домой. Всё узнано, всё видно, всё решено. Он занят своими будущими рассказами. И занят вот этой возможной бедой, — как бы Америка не опередила его, мистера Уэллса, страны, не воспользовалась ранее простодушным, честным правительством, не рванула бы чрезмерно с «грязных скотов», которые ведь ничего не понимают.

И в последней главе м-р Уэллс перестает действовать, он только призывает. Он пламенно убеждает Европу образовать трест для совместной (раз уже нельзя иначе) эксплуатации российских богатств, получить их из дружеских рук русского «правительства». М-р Уэллс предупреждает, что получка возможна только из этих рук, и потому «безумие» не начать с признания «Советов».

Свой призыв м-р Уэллс не раз подкрепляет угрозой: «А то увидите, Америка опередит нас всех. Пожалее!»

Это его refrain, — ибо это его последнее русское впечатление: Ленин и Вандерлип.

Таково содержание книги «*Russia in the Shadow*», — или «*Story of Mr. Wells*». Это художественное произведение неизвестного автора, взявшего на себя задачу

нарисовать известный отрицательный тип в одежде англичанина и в современной обстановке.

Я настаиваю, что художественный подход — единственно верный подход к книге. Художественное чутье есть у всех культурных людей, надо только ему доверяться. Иначе возможны такие «gaffes»*, как недавняя статья барона Нольде о м-ре Уэллсе. Тип отрицательный (и созданный с таким совершенством!) барон Нольде взял, как положительный, душевно совокупился с героем романа и «прелестные сведения» его, полученные от каннибалов, воспринял, как прелестную действительность. Печальная ошибка, но виновата не книга. Напротив, роман чуткому и культурному читателю даст очень много. Роман так ярко рисует Ложь, что в каждой, еще живой человеческой душе будит порыв к борьбе — во имя Истины.

А мы знаем: наш проваливающийся свет, — и Старый, и Новый, — может спасти только эта борьба, воистину последняя, борьба с Ложью на жизнь и смерть.

* оплошности (франц.). — Р е д.

Дискуссия о Марксовой теории отчуждения

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В тех коммунистических странах, где диктатура слабеет, но еще не теряет своей сущности, из темных глубин возвращаются проблемы, которые ушли когда-то под давлением на дно, но там не погибли и поднимаются при первой возможности на поверхность. Среди них — проблема марксизма, которая нынешними поколениями еще не обсуждалась в условиях свободы. Правда, в этих странах и сегодня всякий, полностью отрицающий марксизм, становится «не другом князю», но уже невозможно говорить только о непогрешимости этого учения, заглушать голоса сомнения и даже критики.

В этих странах поэтому поступают с марксизмом как с подпорченным, но всё же пока еще единственным доступным на официальном рынке продуктом питания: с него начинают удалять несъедобные места, в надежде, что под ними сохранилось нечто пригодное для употребления. Так, например, в Югославии, одновременно с ослаблением диктатуры, началось усиленное изучение произведений Маркса, не занимавших центрального места «сокровищницы».

В двадцатилетнем возрасте Маркс подробно разбирал «теорию отчуждения», о которой, как оказалось, по какой-то причине не упоминали ни Ленин, ни Сталин, ни Мао Цзе-дун. Извлеченная на поверхность, теория эта внезапно приобрела опасную злободневность. Маркс видел, что эксплуатируемый рабочий, вынужденный продавать свой труд, отчуждается от своей работы, в нем происходит процесс, подобный заболеванию шизофренией — внутреннее раздвоение. Но сегодня сам собой

возникает вопрос: а не происходит ли процесс отчуждения и при победившем социализме?

Эта мысль и в нашей стране получила такое распространение, что на нее вынуждена была отозваться советская печать, сначала с возмущением ее отвергшая как еретическую: заводы, дескать, принадлежат трудящимся, которые не могут отчуждаться от собственного имущества. Но затем в журнале «Иностранная литература» (№ 1 за 1966 г.) всё же сочли необходимым привести высказывания о «теории отчуждения» тех западных авторов, которые подчеркивали, что эта проблема характерна только для Запада, и почти ничего не говорили о том, что теорию отчуждения разрабатывал Маркс. Советский же автор И. С. Кон в том же журнале признал, что отчуждение и у нас еще не полностью преодолено, но мы, конечно, его вскоре преодолеем, поскольку у нас оно — лишь «пережиток» или «последствия культа», «подменявшего образ человека-творца образом человека-винтика», в то время как капитализму оно «органически присуще... неотделимо от его производственных отношений» (№ 5, стр. 230-231).

Предлагаемые нашему читателю статьи — вклад в дискуссию о теории отчуждения. Имена авторов широко известны и на их родине — Югославии, и на Западе, и в нашей стране.

Милован Джилас* — в прошлом видный деятель КПЮ, вице-президент Югославии, еще в начале пятидесятых годов мужественно восставший против однопартийной диктатуры во имя того, что сегодня именуется «социализмом с человеческим лицом», проведенный три года в королевской тюрьме и более десяти лет — в титовской.

Михаил Михайлов* — моложе Джиласа ровно на одно поколение, литератор и общественный деятель; свою борьбу за демократический социализм он начал в шестидесятых годах и тоже провел из-за нее несколько лет в тюрьме. И Джиласу и Михайлову запрещена публикация их произведений в Югославии.

* См. биографические справки в конце дискуссии. — Я. Т.

Подход к теории отчуждения у обоих авторов весьма далек от стандарта: Джилас относится к явлению отчуждения положительно и расценивает его как вполне естественное; Михайлов считает теорию отчуждения центральной у Маркса и, не будучи марксистом, оспаривает критику Джиласа по отношению к Марксу.

Я. Трушнович

Отчуждение — в природе человека

1



История повторяется, и повторяется, по-видимому, как судьба человека... Если нынешние партийные бюрократы напоминают властителей времен Возрождения, использовавших религию только для декоративных целей, то нынешние марксистские теоретики — копия средневековых схоластов, всегда находивших оправдание для догмы и никогда — для грешной жизни.

И если первые безоговорочно избрали «царство мира сего», то вторые находят, по-видимому, величайшее наслаждение в догматической схоластике и обидах на жизнь за то, что она не хочет протекать в согласии с «единственно научным», единственно спасительным учением. Сотни тысяч коммунистов прошли чистилище, в которое их ввергли свои же партийные руководители как «предателей» и «выродков»; десятки миллионов «чуждых элементов» отправлены на тот свет, потому что их стремления и качества не соответствовали учению «непогрешимых» учителей и практике всемогущих вождей. А жизнь — и в «капиталистическом» и в «социалистическом» мире — всё же взяла направление, противоположное догме. Но тем хуже для жизни! Вера — дьявольская вещь, фанатик может усомниться во всем, кроме догмы. Но именно так и относятся к своему учению марксистские профессора и теоретики.

Они вызубрили мысль первоучителя, что насилие — «повивальная бабка истории». Но сталинское насилие не стало такой бабкой, несмотря на свои безумные масштабы и формы. Из предсказанного «бесклассового» общества ничего не получилось, «нового» человека нет и в помине! И именно за это больше всего в обиде на «сталинизм» и «неосталинизм» эти «социалистические гуманисты».

Правда, нельзя сказать, что сами они — не изломанные и не измученные люди. Все они без исключения пережили ужасные нравственные муки и интеллектуальные драмы, а их и сегодня всё еще гонят и унижают именно за то, что они остались непреклонными и сохранили в чистоте свою веру.

Их болезненное пробуждение началось с отмежевания от Сталина и возврата к Ленину. В отличие от партийных бюрократов, чьи потребности вполне могла удовлетворить «безгрешность» Ленина в отношении к партии и мифологизация его значения и его личности, — эти свихнувшиеся, но неподкупные марксистские головы не могли не видеть кровной связи между Лениным и Сталиным. Между тем их движение назад продолжалось к Марксу. Но кто взялся бы отрицать сродство Маркса и Ленина? Разве не провалились предсказания Маркса, а впоследствии и Ленина, о революциях в промышленно развитых странах? Разве не стало очевидным, что в социалистических странах ничуть не меньше конфликтов и трудностей, чем это было при старых режимах, свергнутых революциями или советскими армиями, — хотя трудности и конфликты теперь иные? Разве не возникла уже давно зияющая и непреодолимая пропасть между современными науками и марксистским взглядом на мир, хотя марксизм и оправдывает свои претензии на руководство в обществе и над обществом именно своей научностью?

Но отступления и поиски оправданий всё продолжают, и им, по-видимому, нет конца: подобно протек-

стантским доктринам, двигавшимся вспять от Нового Завета к Ветхому, наши безнадежные догматики отбросили теперь даже зрелого Маркса и ухватились за Маркса молодого, главным образом, за его теорию отчуждения. Это произошло вовсе не случайно: молодой Маркс в первую очередь — моралист, а его теория отчуждения (как раз самое недоработанное и наиболее неясное из его учений) исходит из философии Гегеля и религиозных порывов. Важно подчеркнуть, что ни Ленин, ни Сталин, ни Мао об этой теории вообще не упоминают. Более того, сам Маркс с годами сильно изменил свою теорию отчуждения и отодвинул ее на задний план.

Однако это несколько не смущает кабинетных революционеров, и они именно в этой теории ищут убежища от бурь, потрясающих их реальность и разрушающих их идеальный мир... Описанное Марксом отчуждение человека, вернее пролетария, соответствует известному в медицине неврозу того же наименования, хотя Маркс находит ему причины в общественных отношениях. Но со времен Маркса до наших дней многое изменилось. Разве уход в теорию отчуждения не есть сегодня симптом отчуждения от действительности и от собственного ума, отдавание своего бытия, сущности своей личности во власть чужих сил?

2

Идея отчуждения человека перешла в европейскую мысль из религиозных учений, считающих, что грех и нарушение религиозных догм есть отчуждение от Бога и Его законов. Наиболее определенные и наименее религиозные формы это учение принимает у Руссо и в «Фаусте» Гёте. Но для нашей работы важны философские взгляды, непосредственно повлиявшие на Маркса, так как нынешние псевдооткрыватели отчуж-

дения, лишенные способности к критическому анализу, ссылаются лишь на одного Маркса.

Конфликтная двойственность человека, по Канту (*Номо noumenon* — *нomo phenomenon*), устремленного к достижению морального совершенства, у Гегеля превратилась в противоречие духа ради достижения идеального существования. Дух Гегеля, Абсолютный дух, — синоним Бога. В нем глубинная суть мира. Бог-дух и мир — одно и то же (*Weltgeist*). Этот Бог-дух не совершенен, как христианский Бог, и от первоначальной самонеосознанности в образе природы постепенно развивается через исторического человека до самопознания. Орган, посредством которого Бог во времени познает самого себя, — человеческий ум. Бог постепенно становится Богом через человеческое сознание. Природа — это Бог в пространстве, история — Бог во времени. История мира есть самосоздание Бога-духа или обожествление человека. Процесс божественного самопознания, или человеческого сознания, бесконечен и выражается в деятельности разума, проходящего через непрестанно преодолеваемые противоречия (*Aufhebung*). Таким образом, Бог, или человек разума, постепенно овладевает миром, так как между понятиями «познание» и «овладение» Гегель не делает существенной разницы. Познавая, человек Гегеля — «конечный познавший себя дух» — познает себя как Бога.

Но что такое самоотчуждение духа, или осознавшего себя человека?

По Гегелю, объект есть чуждое, противопоставленное субъекту существо. Дух как единая реальность разорван на части: на осознавший себя субъект (т. е. человека) и внешний объект (т. е. мир). Этот процесс Гегель и называет самоотчуждением (*Selbstentfremdung*) духа.. Прогрессивное познание или овладение миром и есть преодоление отчуждения.

Из этого вытекает, что диалектика Гегеля, — «закон развития» через внутренние противоречия, — осно-

вана на противоречии самого духа в его стремлении познать себя как абсолют или овладеть миром, познав его, как самого себя. Противоречие духа и преодоление противоречия Гегель перенес на историю, поскольку она для него была автобиографией Бога — познавшего себя человека.

Теорию отчуждения разрабатывал дальше Фейербах. Он отбрасывает систему Гегеля как спекулятивную теологию, но открывает в ней «эзотерическое» содержание как истину о человеке. По Гегелю, человек — это Бог в состоянии отчуждения и возврата к самому себе, по Фейербаху же Бог — это человек в состоянии отчуждения, потому что не существует двух миров, а только один — материальный. Самоотчужденный Бог-дух Гегеля — это мистифицированное изображение религиозного человека. Не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание. Предполагая, что человек познает Бога, он на самом деле познает собственную природу. Именно религиозная жизнь и отчуждает человека от самого себя. История не есть процесс достижения Богом полного самопознания посредством человека, а наоборот — процесс достижения человеком полного самопознания через Бога. Потому что цель человека в истории — стать полностью гуманным, то есть до конца человеком. Бог есть не что иное, как прототип и идеал человека. Вместо того, чтобы тратить свои творческие силы на выдуманного Бога, человек должен возвратиться к самому себе, к плодотворной работе над своей собственной жизнью.

Даже при таком упрощенном и сжатом изложении ясно видна глубокая и неразрывная связь между учением Маркса и системами Гегеля и Фейербаха. Эту связь с нескрываемым восторгом подчеркивал в молодости и сам Маркс — как раз в то время, когда создавал свою теорию отчуждения. По мере созревания учение Маркса стало питаться и другими источниками, главным образом, классической английской экономи-

кой Адама Смита и французским социализмом. Но его теория отчуждения исходит, главным образом, из Гегеля и Фейербаха. Читателя же, интересующегося подробностями возникновения и содержания учения Маркса, я отсылаю к добросовестной и умной книге Роберта Такера «Философия и миф у Карла Маркса»¹, в которой я обнаружил ценные для себя мысли.

И для Фейербаха и для Маркса высшее существо — человек. Человек должен искать свое воплощение в реальном мире, вместо того, чтобы заниматься религиозными мечтаниями. Отчуждение человека от природы (Гегель) или от Бога (Фейербах) Маркс устраняет утверждением, что существующий мир надо изменить.

Реальный мир для Маркса, прежде всего, — общество. Это и понятно: когда в двадцатилетнем возрасте Маркс в своих «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» излагал теорию отчуждения, у него был тогда выработан свой взгляд на мир и накоплен большой опыт в контакте с революционными социалистическими группировками. Дух Гегеля, отчужденный от природы, или человек Фейербаха, отчужденный от религии, преобразуются у Маркса в человека, отчужденного от общества, — человека на службе у дегуманизированных общественных сил, принесенного этим силам в жертву. И хотя сам Маркс никогда не дружил с пролетариями, но, вдохновленный диалектикой Гегеля и своей новой верой, он именно среди них нашел этого отчужденного человека, — лишенного имущества, лишенного прав и озлобленного эксплуатацией.

По Марксу, имеется два типа отчуждения рабочих: отчуждение рабочего от плодов его труда и отчуждение рабочего от работы. Упрощая мысль: продукция не

¹ Robert Tucker. Philosophy and myth. Cambridge University Press. 1961.

принадлежит рабочему, а сама работа находится в противоречии с его человеческой сущностью:

«Чем больше рабочий отдает свой труд, тем больше усиливается чуждый ему предметный мир, который он создает против самого себя, тем более обедняется он сам, его внутренний мир, и тем меньше принадлежит ему. То же самое и в религии. Чем больше человек вкладывает в Бога, тем меньше остается для него самого. Рабочий вкладывает свою жизнь в предмет; но она теперь уже принадлежит не ему, а предмету... Продукт его работы — не он сам. Следовательно, чем больше продукт работы, тем меньше он сам.

...Но отчуждение проявляется не только в результате, но и в самом акте производства, внутри самого производственного процесса.

...Труд рабочего для него — внешний труд, то есть он не входит в состав его сущности, поэтому он своим трудом не самоутверждается, а сам себя отрицает... он не развивает свободную физическую и духовную энергию, а калечит свою натуру, губит свой дух. Поэтому рабочий чувствует себя самим собой только вне работы, а на работе он вне себя... Поэтому его труд — не добровольный, а насильственный, принудительный труд... Как в религии самопроизвольная деятельность человеческой фантазии, человеческого мозга и человеческого сердца не зависит от индивидуума, то есть влияет на них как чуждая — божественная или сатанинская — деятельность, так и деятельность рабочего не принадлежит ему. Она чужая собственность, она — потеря его самости»².

² K. Marx i Engels. Rani radovi. Zagreb. „Naprijed“. 1967. str. 246-249.

(Сверено по: Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, S. 154-155, — где в сноске указано, что здесь фразы Маркса о религии перекликаются с высказываниями Фейербаха в: L. Feuerbach. Das Wesen des Christentums. — Я. Т.).

Маркс и в зрелости не терял связи с этой точкой зрения, хотя и в измененном виде, с иными доказательствами:

«...товарная форма и то отношение стоимостей продуктов труда, в котором она выражается, не имеют решительно ничего общего с физической природой вещей и вытекающими из нее отношениями вещей. Это — лишь определенное общественное отношение самих людей, которое принимает в их глазах фантастическую форму отношения между вещами. Чтобы найти аналогию этому, нам пришлось бы забраться в туманные области религиозного мира. Здесь продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью... То же самое происходит и в мире товаров с продуктами человеческих рук. Это я называю фетишизмом, который присущ продуктам труда, раз только они производятся как товары, и который, следовательно, неотделим от товарного производства»³.

«...мы видели, что при капиталистической системе... все средства для развития производства превращаются в средства подчинения и эксплуатации производителя, уродуют рабочего, делая из него неполного человека, принижают его до роли придатка машины, увеличивая тяжесть труда, отнимают его содержательность, отчуждают от рабочего духовные силы процесса труда в той мере, в какой наука входит в процесс труда как самостоятельная сила... Из этого следует, что по мере того, как капитал накапливается, положение рабочего должно ухудшаться, какова бы ни была, *высока или низка*, его оплата... Следовательно, *накопление богатства* на одном полюсе есть в то же время *накопление нищеты*, муки, труда, рабства, невежества, одичания и моральной деградации на противополож-

³ Карл Маркс. Капитал I. «Култура», Београд. 1947, стр. 37. (Сверено по: Карл Маркс. Капитал. Т. I. «Государственное Издательство Политической Литературы», 1951, стр. стр. 78-79. — Я. Т.).

ном полюсе, т. е. на стороне класса, который производит свой собственный продукт как капитал»⁴.

Если мы вспомним положения Гегеля и Фейербаха, нам сразу бросятся в глаза как сделанные Марксом добавления, так и его глубинная связь с упомянутыми мыслителями, — в особенности схематичность сравнения общественных и религиозных явлений и упрощенное, вульгарное объяснение религии.

Маркс разъясняет по-новому и зачатки человеческого отчуждения. Хотя оно в пролетариате и развитом промышленном производстве достигает поворотной точки, отчуждение не проистекает из них, а — подобно первородному греху — началось одновременно с разделением труда и возникновением частной собственности. Хотя отчуждение, по Марксу, не берет начала от частной собственности, однако оно в ней материализуется и фиксируется. Корни же отчуждения — в разделении труда, которое, как считает Маркс, зародилось в праисторические времена, в первобытных общинах, когда изобретение новых орудий и ремёсел повлекло за собою возникновение различных специальностей и сделало возможным производство количества товаров, превышающее то, что насущно необходимо для поддержания жизни человека. Именно тогда и именно таким образом возникла возможность присвоения человеческого труда и зародились властвующие классы и органы насилия для охраны уклада жизни... Но Маркс так в точности и не изложил, почему людям пришлось изобрести новые орудия и согласиться на присвоение их труда, на подчинение себя другим людям. В молодости он считал, что причина этому — алчность.

⁴ Карл Маркс. Капитал I. «Культура», Београд. 1947, стр. 540. (Сверено по: Карл Маркс: Капитал. Т. 1. «Государственное Издательство Политической Литературы», 1951, стр. 651. Слова «увеличивая тяжесть труда» в югославском издании звучат: «превращая его труд в настоящее мучение». — Я. Т.).

Отчуждение человека, вернее пролетария, должно, по Марксу, окончиться с наступлением коммунистического общества:

«Коммунизм как позитивное устранение частной собственности как человеческого самоотчуждения и поэтому подлинного присвоения человеческой сущности человеком и для человека; отсюда полное, сознательное и в объеме всего богатства развития до наших дней возвращение человека к самому себе как к общественному, то есть человеческому человеку. Этот коммунизм... подлинное разрешение противоречий между человеком и природой, человеком и человеком.. между свободой и необходимостью, между индивидуумом и родом. Он — разрешение загадки истории и знает, что он это разрешение»⁵.

Мы видим, что Марксова теория отчуждения — наиболее общее и незавершенное, наименее самостоятельное коммунистическое учение о коммунизме, — хотя «новые» теоретики отчуждения и не хотят этого видеть.

Но коммунистическое общество не есть конечная цель учения Маркса. Оно — основа и предварительное условие жизни неотчужденного человека, иного (чем ныне существующего) человека, который будет свободно развивать все свои силы, творчески преобразовать предметы в соответствии с законами красоты, воплощать свое человеческое естество. Изменение человека — цель религий, конечно, без Марксовых «научных» обоснований. Комментируя падение человека (грех Адама и Евы), Гегель замечает, что человек, чрезмерно стремясь уподобиться Богу, лишился своей первоначальной гармонии, а «второй гармонии» он добьется философским изучением абсолютного познания. А разве Марксов коммунизм — «возвращение человека к са-

⁵ K. Marx i F. Engels. Rani radovi. „Naprijed“ Zagreb. 1967. Str. 275. (Сверено по: Karl Marx. Ökonomisch-philosophische Manuskripte. Стр. 184. — Я. Т.).

мому себе как общественного, то есть человеческого человека» — не возвращение, конечно, «на высшем уровне», к потерянной «изначальной гармонии» пракоммунистических общин, в которых не было ни разделения труда, ни собственности?

Подобно средневековому христианству, которое и себя, и конечное искупление понимало как гармонию догмы и богоугодных дел, — Маркс провозглашает единство теории и практики: «Философы лишь различным способом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его»⁶, написал он в тезисах о Фейербахе, через год после создания теории отчуждения. Этой фразой, правда, отрицается значение науки и философии вне практической области. С одной стороны, именно она делает Маркса непохожим на Гегеля и Фейербаха и помогает ему, наконец, найти самого себя. С другой, — разве упор Маркса на практическое осуществление философии и на научность собственного учения не указывают на Гегеля и Фейербаха? Призрак гегелевского абсолютного духа, овладевающего миром путем познания его, не давал Марксу покоя до конца жизни, оставаясь составной частью его учения.

3

Система Гегеля громоздка и устарела, но это несколько не умаляет громадного решающего значения его идей в европейской культуре и европейском обществе. Своей диалектикой Гегель внес творческое беспокойство и непреодолимую динамику, которые продолжают жить и сегодня, а некоторые из его мыслей принадлежат к самым блестящим взлетам человеческого ума.

⁶ Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения. Т. 2. Москва. 1952 г., стр. 385. — Я. Т.

Но, как мы попытаемся показать в этом кратком изложении, теория отчуждения относится к той части его системы, которая, несмотря на сложность и грандиозность, покачнулась и была преодолена уже в середине девятнадцатого века.

Нечто подобное можно сказать сегодня и о Марксе, учение которого до сих пор живо, главным образом, потому, что оно превратилось в консерватора бюрократических «социалистических» структур. Но поскольку я на его роли консерватора, которая имела громадное значение в истории человечества, подробно останавливался в своей недавно вышедшей книге «Несовершенное общество», изложу коротко свое мнение о Марксовой теории отчуждения и о самом отчуждении.

Что же сегодня неприменимо и что неверно в гегелево-марксовой теории отчуждения для каждого нормального человека, которого не деморализует распад тоталитарных идеологий и не приводит в отчаяние невозможность создания совершенного общества и нового, тотального человека?

Прежде всего, ни один человек в здравом рассудке не ощущает себя отчужденным потому, что природа отлична от него или что ему непонятна функция созданных его руками предметов: он просто ощущает себя недостаточно образованным или недостаточно награжденным.

Конечно, «весь мир» не есть еще непогрешимая мера истины. Однако теория отчуждения Гегеля сразу начинает расползаться по швам при сравнении ее не только с любой точной наукой, но и с современными философскими и религиозными учениями. В какой науке можно сегодня найти даже намек на некий дух, борющийся в самом себе и преодолевающий своими сознательными силами неосознанные чуждые силы? Кто из религиозных мыслителей утверждает сегодня подобную точку зрения, или противопоставляет Божью премудрость природе, или верит в традиционную

априорную двойственность человека? Мне не известен ни один значительный современный философ, который поддерживал бы систему Гегеля. А теория отчуждения — один из столпов этой системы.

Тот факт, что человек всё более и более неудержимо познает природу, сегодня можно гораздо убедительнее объяснить не как овладение духом чуждых сил, а как расширение человеком собственных возможностей его собственного мира.

Но теория Маркса на устах у многих, и поэтому критиковать ее следует более обстоятельно.

Подобно верующим людям, Маркс сначала убедился в «истине» о «неизбежности» коммунистического общества, вернее поверил в нового всестороннего «неотчужденного» человека. Затем он, охваченный «научностью» своей эпохи, с необычайной страстностью и трудолюбием принялся «научно» доказывать «неизбежность» того, во что уже верил.

Нет никакого сомнения в том, что человек, открывая какую-либо истину, творя произведение искусства или усовершенствуя технику, вносит, то есть «отчуждает» в произведения своего творения свою силу, свои эмоции и свой разум. Но он делает это по той простой причине, что он — человек. Животные тоже познают, а иногда и действуют по-новому, но не могут существенно изменять условия своей жизни. Человек же занимается этим постоянно: открывает новые истины, новые формы, изобретает вспомогательные орудия, использует новые материалы. Человек становится человеком, отдаваясь своей деятельностью, «отчуждаясь» от животных условий жизни, данных ему природой. Приспособляемость животных — это длинный, самопроизвольный процесс, у человека же — сознательная, каждодневная работа. Если бы этого не было, то человек, в отличие от животных, не смог бы выжить в природе. Конечно, этому способствует и человеческий организм: развитый мозг, вертикальное положение тела, умение

использовать руки и т.д. Но, без сомнения, самое важное из всего этого именно то, что человек *иначе думает*. Его мышление обладает способностью оценивать собственные возможности и направлять свою деятельность на изменение условий человеческого существования. Человек, следовательно, отчуждается от того или иного способа производства или от социальных отношений не потому, что они таковы и являют собою абсолютное зло, а потому или только в том случае, когда в этих условиях он не может существовать. Отчуждение есть способ человеческого существования. Всё умножающееся разделение труда это отчуждение, естественно, усугубляет и усложняет, не изменяя при этом того факта, что и наиболее примитивный первобытный человек подвергся отчуждению уже тем самым, что он «начал» думать и действовать не как животные...

Как и многие общие истины, Маркс эту истину о человеческом бытии и человечестве превратил в «классовую», «пролетарскую», вернее же в коммунистическую истину. Гегель ближе к истине, чем Маркс, однако на основании его выводов не производилось непосредственных опытов над обществом, и поэтому его мысли не могли приобрести той наглядности и играть такую роль в обществе, как мысли Маркса.

Индустриальная революция, означавшая невиданный научный взлёт, на глазах Маркса разрушила традиционные формы и отношения и обернулась жесточайшей эксплуатацией рабочих и крестьян. Классовое разделение было тогда резким, а плоды технических достижений и расширяющиеся рынки захватывались собственниками орудий производства и средств транспорта — промышленниками и банкирами (капиталистами). Это была эпоха одновременного создания мирового рынка и триумфа товарного производства над натуральным. Вера в неизбежность коммунизма, уверенность в универсальности диалектики Гегеля, убежденность в тотальной пригодности материализма Фейер-

баха во всех общественных вопросах побудили Маркса объяснить отчуждение рабочего — то есть человека — товарным производством. Поэтому он и пришел к заключению, что с прекращением товарного производства и частной капиталистической собственности исчезнет отчуждение рабочего, то есть человека.

В зрелости Маркс в этом мало отличается от Маркса молодого:

«Представим себе... союз свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу... Общественные отношения людей к их работам и продуктам их труда остаются здесь прозрачно ясными, как в производстве, так и в распределении»⁷.

Но как избавиться от этого проклятого разделения труда, которое всё увеличивается и из которого истекает товарное производство и отчуждение? Маркс на этот вопрос не дает точного ответа. Мы можем лишь догадываться, что техника в коммунистическом будущем станет настолько развитой, а неотчужденный человек настолько многосторонним, что сможет выполнять все функции, иметь всё, что пожелает, и даже создавать всё, что задумает. Это может красиво выглядеть как надежда или мечта, но для этого не существует научных доказательств. Современная же технология и современные революции навязывают нам как раз обратные выводы: разделение труда всё возрастает, человек работает всё меньше, но его работа становится всё более узкоспециализированной. Вполне возможно, что с разделением труда началось угнетение и эксплуатация, — но их, вне всякого сомнения, невозможно ликвидировать изменением тех или иных общественных

⁷ Карл Маркс. Капитал I. «Култура», Београд, 1947. (Сверено по: Карл Маркс. Капитал. Т. I. «Государственное Издательство Политической Литературы», 1951, стр. стр. 84-85. — Я. Т.).

отношений, если изменение это не произойдет в результате человеческих потребностей или новых возможностей расширить границы своих так называемых человеческих условий. Но эти условия как раз всё больше и разделяют труд.

У молодого Маркса человеческое отчуждение по сути дела синоним эксплуатации труда. Мы видели, что и в зрелости Маркс сохранил в упрощенном виде эту точку зрения. Но отчуждение и эксплуатация — отнюдь не одно и то же, поскольку одно есть состояние, свойство человека, а другое — человеческие общественные отношения. Теоретики в «социалистических» странах, считающие, что «задача социализма — в том, чтобы преодолеть формы человеческого существования, создающие отчужденного человека», то есть «тотальное государственное планирование и государственная собственность на прибавочную стоимость»⁸, только отодвигают на задний план подлинные нужды своего общества, свободу идей и более свободные формы власти и собственности. «Неомарксистские» же профессора на Западе как будто просто горюют, что рабочий класс в их странах вырвался из трудных условий жизни и что при этом исчезли предпосылки для революции, ради которой, судя по всему, мало кто из представителей этого класса готов был бы жертвовать собою. Борьба за справедливое распределение и большую свободу возможна, но сегодня уже ясно, что с ликвидацией капиталистической частной собственности насилие и беззаконие не исчезают.

Жизнь людей и народов, — или «история», как сказали бы Гегель и Маркс, — приняла направление, прямо противоположное тому, которое указано в Марксовых «законах» и «неизбежностях», в том числе и в его теории отчуждения. Если рассматривать дли-

⁸ Predrag Vranicki в „Socialist humanism“. Anchor Books, New York, 1966, стр. 305. — М. Дж.

тельные отрезки времени, то мы заметим, что рабочий, умножая богатство капиталиста, не накапливал одновременно для себя «нищету, муки труда, рабство, невежество, одичание и моральное падение», а получал возможность добиваться лучших условий жизни и более высокого положения в обществе. Расширение товарного производства и расчленение процесса производства, увеличение разделения труда, надо сказать, — не принесли блаженства, однако улучшили условия жизни и смягчили отчуждение, о котором говорил Маркс. Поэтому «неомарксистские» теоретики отчуждения только повторяют иллюзии своего «гениального учителя», но теперь уже, выражаясь его языком, как фарс. Произвольны и нелепы догматические построения Герберта Маркузе о «человеке одного измерения» в «потребительском обществе»; бездоказательны и далеки от жизни утверждения Эриха Фромма о том, что «отчуждение изобилия» (то есть отчуждение в «обществе изобилия». — М. Дж.) может быть столь же дегуманизирующим, как «отчуждение в нищете»⁹ (то есть отчуждение в «обществе нищеты». — М. Дж.)

В конце концов когда-нибудь должно же стать ясным: хотя и верно, что Маркс, соединив революцию и социологию, вынес экономическую мысль в широкие слои населения, но, — повторим мысль Р. Таккера¹⁰, — еще более верно, что своим упорным трудом он не стремился открыть ни законов общества, ни законов капитализма, а лишь подтвердить свою юношескую веру в неизбежность коммунистического общества, во всестороннего и творческого «разотчужденного» человека.

Нет и не может быть отчуждения в Марксовом смысле. Трудную жизнь людей, в особенности рабочих, Маркс подверг «отчуждению», чтобы превратить их в

⁹ Erich Fromm в „Socialist humanism“, Anchor Books, 1966, стр. IX. — М. Дж.

¹⁰ R. Tucker. Там же, стр. 204. — М. Дж.

«оружие философии», естественно, собственной. Что же касается его нового человека, то сегодня я скорее согласился бы со св. Августином: даже и грешный человек лучше *автомата*.

4

И все же человек отчуждается — от общества, от природы, от себя самого.

Каждый раз, когда человек в своей деятельности производит нечто существенно новое, радикальное, он отчуждается, он не может не отчуждаться от форм и отношений, в которых он до тех пор существовал. Иными словами: совершая творческий акт, человек каждый раз отчуждается соответственно масштабам этого творческого акта. В истории трудно найти великого человека (политика, ученого, художника — любого), чье творчество не входило бы в конфликт с теми условиями, которые он застал, входя в жизнь; другими словами, он от них отчуждается. Гениальные люди создают новые формы жизни, отчуждаясь от форм, существующих до них. Отчуждение великих духом есть одновременно их способ слияния с людьми и человечеством — жертва, приносимая ими для улучшения общества, а может быть, и человечества.

Для такого отчуждения, естественно, кроме гения, необходимо и внутреннее умственное и эмоциональное напряжение, преодолеть которое никакие внешние (общественные и материальные) препятствия не в силах. Великие люди, подобно пламени, оставляют после себя пожарища в своем духовном отечестве. По этой причине они нередко кажутся нам во многом не нормальными. Для ясности следует сказать, что мои рассуждения не касаются клинической отчужденности: здесь идет речь только об отчуждении (как качестве) здоровых людей.

История рассказывает нам о народах, среди которых вдруг перестают появляться великие люди, — такие периоды обычно совпадают с периодами упадка этих народов. Но история говорит также о том, что род человеческий непрестанно рождает гениев, которые есть не что иное, как вершины творческих сил человеческого рода. Отчуждение свойственно всем, включая сюда и так называемых простых людей, у которых оно может проявляться в ином виде, в будничной жизни и не в столь заметной форме. Любое человеческое действие, создающее нечто новое, означает одновременно отчуждение от старого, существующего: никто не полюбил женщину, не оторвавшись при этом от кого-то другого, никто не создал подлинно новой модели одежды, не отбросив перед этим старую.

Но отчуждение существует не только в общественной области, оно существует и как отчуждение от природы и от самого себя.

Процесс отчуждения от природы, поддающийся наблюдению лишь на длительных отрезках времени, есть не что иное, как изменение человека, изменение условий его жизни посредством технических и иных усовершенствований. Что же при этом происходит? Человек отчуждается от тех условий жизни, которые он застал, и одновременно приспосабливается к новым. В невиданных до наших дней искусственных, то есть отчужденных, условиях астронавты «Аполлона 11» установили связь с первым небесным телом.

Из-за этого отчуждения человек не перестал быть тем, чем он был, но одновременно он стал более независимым, «отчужденным» от природы. Человек создается, отчуждаясь. Я отчуждаюсь, — значит я человек. В истории существует бесконечное количество примеров, когда отдельные народы по тем или иным причинам в техническом или другом смысле прекращали улучшать условия своей жизни. Это были периоды их усталости и общего упадка. Технизация человечес-

кой жизни и автоматизация человеческих функций разрушают прежнюю «идиллию» в человеческих отношениях. Но эти процессы не могут совсем прекратить отношения между людьми. Наоборот, это отчуждение, то есть усовершенствование техники и производства, есть материальное условие взаимосвязи людей, о которой говорят и которой вдохновляются мыслители, начиная с Канта. Эта взаимосвязь когда-нибудь будет осуществлена, но не по плану некоего гения или волей вождей, — она возникнет из самой жизни и жизненной необходимости как сознательное взаимодействие всех наций. Такому отчуждению от природы, как и другому, чисто духовному, нет конца, — как нет конца миру, в котором мы существуем и часть которого мы представляем.

Третий облик человеческого творческого отчуждения — отчуждение от самого себя — мне самому кажется наиболее сокровенным. Но от этого моя вера в его существование нисколько не уменьшается. Короче говоря: человек не может создавать духовные и технические ценности, не преображая при этом самого себя, отчуждаясь от того, чем он был прежде, — от своих мыслей, действий и мечтаний. Не думаю, однако, что человек при этом теряет свою личность — личность совершает акт творчества. Но его личность изменяется в моменты болезненного и страстного, непреодолимого акта творчества. Но как, в каком направлении? Мне кажется, только в одном, — а именно в том, которое делает уже существующую личность более чистой и последовательной в ее творчестве, более способной к осуществлению своей задачи.

Но это изменение, это отчуждение от самого себя, поистине не имеет ничего общего со старомодными разговорами о том, что для изменения общества прежде всего следует измениться самому. Потому что это «изменение» есть не что иное, как обетованный древний «новый» совершенный человек. В нынешних условиях

(потому что Марксову и подобные теории отчуждения нельзя понять и разбирать вне реальных общественных международных и человеческих условий) это «изменение» — западня, предназначенная для простодушных людей, в которую они, к сожалению, и попадают — по непростодушным замыслам проповедников «изменения». Изменение, отчуждение от самого себя, о котором я говорю, заложено в человеке, оно свободно и добровольно, — поскольку какое бы то ни было человеческое действие может быть таковым. Задачей этого изменения может быть только освобождение собственных и общечеловеческих сил. Оно есть выражение природы человека — одной из природных человеческих черт.

Так нам раскрывается человек как творец, именно отчуждением своим и бесконечный в своем творчестве и бытии. Отчужденный, творческий человек — один из типов человека: как человек у Аристотеля — человек общества, у Адама Смита — экономики, у Маркса — труда. Но поскольку ни одно из этих свойств человека не абсолютно и не доминирует, отчужденный творческий человек не может быть сведен только к одной из этих своих отличительных черт. Даже если бы человек познал, в чем его сущность, — он в нее не смог бы возвратиться, потому что он ее и не покидал. Он есть то, что он есть. Он ощущает, он познает свои особенности, оставаясь не раскрытым до конца, как мир. Потому что человек — это тоже мир, бесконечный в себе самом.

Но не было бы ничего более ошибочного и неверного, как видеть сегодня в этом человеке Бога, хотя он и стремится к полному отчуждению, — к абсолютному господству над природой. Существует только одно устремление, проявляющее себя в бесконечном движении, в бесконечных переходах в новые условия, к новым возможностям. Человек — не Бог и не может Им быть. Но не потому, что Бога нет и кто-то должен Его заменить, или потому, что Бог есть и Его никто заменить не может. Даже и духовные ценности не создаются челове-

ком в изоляции; еще меньше он может это сказать о самом себе и о природе. Бог и анти-Бог суть также формы человеческого бытия. Мы — часть мира и можем удержаться в нем своим умом, трудом и жертвой.

Перевод с сербскохорватского

Джилас против Маркса

По поводу неудачной критики теории отчуждения

I

В мае 1971 года лондонский журнал «Энкаунтер», номер которого я получил по почте от неизвестного доброжелателя из Англии, опубликовал статью Милована Джиласа, направленную против «теории отчуждения» Маркса*. Сегодня в Югославии можно критиковать Сталина и сталинизм, но всё ещё, к сожалению, нельзя свободно писать о Ленине и Марксе, например, с тех позиций, что сталинизм не есть искажение марксизма и ленинизма, а лишь логическое развитие коммунистического учения. Если прибавить к тому же, что Джиласу всё ещё запрещено публиковать труды в своей стране, то будет ясно, что полемика с Джиласом — вещь весьма деликатная. Комментировать или критиковать его книги и статьи в Югославии невозможно по политическим причинам, а заниматься этим в демократическом мире противопоказано потому, что власть любую критику может использовать для снижения авторитета Джиласа среди югославов: вот, дескать, и на Западе Джиласа не ценят.

Мне кажется, что, по стечению обстоятельств, я по сути единственный человек, могущий полемизировать с Джиласом на равных правах, без риска навлечь на него политические неприятности. Несколько лет назад я от-



* Название в оригинале: Милован Ђилас «Отуђење као људскост» («Отчуждение — в природе человека»). — М. М.

крыто в своих статьях высказывался в пользу Джиласа*, а сегодня мне, как и Джиласу, запрещено печататься в собственной стране.

Заслуги Джиласа по разоблачению и анализу коммунистического тоталитаризма огромны, а его «Новый класс» останется одним из основных произведений о коммунизме и сталинщине. Однако в «Новом классе» Джилас во многом всё еще мыслит по-коммунистически и по-марксистски. Новообразовавшееся общество, в создании которого он сам принимал активное участие, Джилас критикует с марксистских позиций, в основе которых заложен идеал «совершенного общества», равенства и абсолютной бесклассовости. В следующей же книге «Несовершенное общество» Джилас пытается критиковать саму идею «бесклассового общества». В статье «Отчуждение — в природе человека» Джилас хочет нанести удар в самое сердце марксизма, в Марксову «теорию отчуждения».

На этот раз удар направлен не против сталинизма и даже не против ленинизма. Он направлен против всех современных неомарксистских течений, в особенности против «новой левой», в которой Джилас законно видит идейный рецидив неизжитого тоталитаризма.

Марксизм можно критиковать с разных позиций. Можно доказывать, что «отчуждение» человека не определяется одними только общественными условиями и что эта проблема не разрешается с их изменением. Можно показать, что ликвидация частной собственности ни в коем случае не устраняет разделение труда, а тем самым и — классов. Можно критиковать утверждение, что классовая борьба обуславливает развитие всего человечества. Можно доказывать, что при так называемой диктатуре пролетариата не наступит «царства свободы» и не отомрет государство и т. д. и т. п.

* Например: Михайло Михайлов «Джилас и сегодняшняя Югославия»; по-русски опубликована в «Посеве» № 21, от 20. 5. 1966 г., Франкфурт-на-Майне. — Ред.

Между тем новое в утверждениях Джиласа состоит в том, что он критикует не Марксов метод, которым тот борется за освобождение человека и устранение человеческого «отчуждения»; Джилас заявляет, что «отчуждение» — вообще не зло, что оно — присущее человеку качество. Другими словами, он не становится на обычную позицию критиков марксизма, утверждающих:

что метод, которым осуществляется «царство свободы», ведет не к свободе, а к рабству;

что осуществить бесклассовое общество и построить коммунизм вообще невозможно;

что построение бесклассового общества и коммунизма очень даже возможно, но что такое общество не имело бы со свободой личности ничего общего и привело бы сначала к духовной, а затем и к физической гибели человечества; для создания более сносной жизни надо устремить свою энергию в другое направление.

Нет, Джилас не выступает ни с одной из тех позиций, с которых обычно критикуют осуществление «земного рая». С присущей ему решительностью и смелостью, он утверждает, что никакого отчуждения человека просто не существует, а то, что Маркс и все марксисты до наших дней именуют отчуждением и считают злом, на самом деле — добро, врожденное свойство человека. Не нужно никакого освобождения, никакого «земного рая».

Вот эта его мысль и заставляет меня выступить в необычной роли защитника Маркса от Джиласа, с которым я во многом соглашаюсь, роли тем более странной, что я не марксист. Джилас — я надеюсь, что мне удастся это доказать, — хотя и выступает радикально против главной движущей идеи марксизма, даже в этой своей критике всё еще остается марксистом. Другими словами, я, немарксист, попытаюсь отстоять нечто, что мне кажется в марксизме правильным и что Джилас атакует с марксистских же позиций, которые именно у Маркса я считаю неверными. Мне кажется, что оригинальную

идею Джиласа следует подвергнуть анализу еще и потому, что как раз на этом примере легко показать невозможность критиковать Маркса, одновременно оставаясь в той духовной плоскости европейского рационализма, где и возник сам марксизм.

II

Несмотря на то, что теория отчуждения, как правильно отмечает Джилас, наиболее туманная часть учения Маркса, именно она — отправная точка, или даже больше — главный двигатель всего коммунистического учения; понятие «отчуждения» скрыто присутствует в трудах и Ленина, и Сталина, и Мао Цзэ-дуна, хотя открыто они нигде не упоминают о нем. Смысл «отчуждения», упрощенно говоря, в следующем: мир болен (теория отчуждения), — его необходимо вылечить (теория и практика коммунизма). Как я уже упомянул, марксизм обычно критикуют, отрицая при этом или диагноз болезни, или ее причины, или способ лечения. Джилас же исходит из утверждения, что никакой болезни вообще нет, а следовательно, и лечить нечего. Эта точка зрения — весьма оригинальна, но, чтобы не допустить чисто терминологической разноголосицы, сравним коротко, что под «отчуждением» подразумевает Маркс, а что — Джилас.

Надо сразу сказать: по Марксу, сущность отчуждения — в несвободе, рабстве человека, причины которого он видит, главным образом, в системе частной собственности и товарного производства. Нет нужды входить в подробности таких Марксовых понятий как «фетишизм товара» и т. д.; так как этот анализ раскрывает взгляд Маркса на причины несвободы человека (а по Марксу, самый несвободный человек — капиталистический наемный рабочий). В данном случае важно то, что, по Марксу, отчуждение возникает не только как результат

производства, но и в самом процессе производства. Маркс пишет:

«Труд рабочего — для него внешний труд, то есть он не входит в состав его сущности, поэтому он своим трудом не самоутверждается, а сам себя отрицает... он не развивает свободную физическую и духовную энергию, а калечит свою натуру, губит свой дух. Поэтому рабочий чувствует себя самим собой только вне работы, а на работе он вне самого себя... Поэтому его труд — не добровольный, а насильственный, п р и н у д и т е л ь н ы й т р у д... деятельность рабочего не принадлежит ему. Она — чужая собственность, она — потеря его самости»*.

Не входя в рассмотрение вопроса, верна ли точка зрения Маркса на причины человеческой несвободы, повторим: отчуждение, с точки зрения Маркса, есть рабство, насилие, принудительный труд. Это и есть самое важное. К тому же, рабство преграждает путь для большей части человечества к свободному развитию творческих сил. В этом и только этом смысле употребляет Маркс понятие «отчуждения». И можно сказать, что именно немецкие или советские концентрационные лагеря с их принудительным трудом, где свобода человека сведена до минимума, могли бы, с точки зрения Маркса, быть убедительным примером человеческого отчуждения. Джилас верно отмечает, что для Маркса отчуждение по сути дела — синоним эксплуатации труда и что симптомы отчуждения у отдельного, отчужденного, несвободного человека примерно соответствуют симптомам клинического невроза. Чем больше степень несвободы, которой подвергается человек, тем чаще проявляется у него невроз. Теперь же для нас важно еще раз подчеркнуть, что для Маркса — «отчуждение» идентично несвободе.

Что же означает «отчуждение» для Джиласа?

* К. Marx i F. Engels. Rani radovi. Zagreb 1967, str. 246-249 (сверено по: Karl Marx. Ökonomisch-philosophische Manuskripte. Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig. — Я. Т.).

«Нет никакого сомнения в том, — пишет Джилас, — что человек, открывая какую-либо истину, творя произведение искусства или усовершенствуя технику, вносит, то есть «отчуждает» в произведения своего творения свою силу, свои эмоции, свой разум... Человек становится человеком, отдаляясь своей деятельностью, «отчуждаясь» от животных условий жизни, данных ему природой... Человек, следовательно, отчуждается от того или иного способа производства или от социальных отношений не потому, что они таковы и являют собою абсолютное зло, а потому, или, вернее, только в том случае, когда в этих условиях он не может существовать. Отчуждение есть способ человеческого существования. Всё умножающееся разделение труда это отчуждение естественно усугубляет и усложняет, не изменяя при этом факта, что и наиболее примитивный, первобытный человек подвергся отчуждению уже тем самым, что он «начал» думать и действовать не как животное...»

И дальше Джилас развивает понятие «отчуждения»:

«Каждый раз, когда человек в своей деятельности производит нечто существенно новое, радикальное, он отчуждается, он не может не отчуждаться от форм и отношений, в которых он до тех пор существовал. Иными словами: совершая творческий акт, человек каждый раз отчуждается соответственно масштабам этого творческого акта... Гениальные люди создают новые формы жизни, отчуждаясь от форм, существовавших до них... Для такого отчуждения, естественно, кроме гения, необходимо и внутреннее умственное и эмоциональное напряжение, преодолеть которое никакие внешние, общественные и материальные, препятствия не в силах... Любое человеческое действие, создающее нечто новое, означает одновременно отчуждение от старого, существующего... Процесс отчуждения от природы, поддающийся наблюдению лишь на длительных отрезках времени, есть не что иное, как изменение человека в силу технических и иных условий его существования... Из-за этого отчуждения человек не перестал быть тем, чем он был, но одновременно он стал более независимым, «отчужденным» от природы. Человек создается, отчуждаясь... отчуждение, или усовершенствование техники и производства... Такому отчуждению от приро-

ды, как и другому, «чисто» духовному, нет конца, — как нет конца миру, в котором мы существуем и часть которого мы составляем... Изменение, отчуждение самого себя, о котором я говорю, заложено в человеке, оно свободно... Так нам раскрывается человек как творец, именно отчуждением своим и бесконечный в своем творчестве и бытии. Отчужденный, творческий человек — один из типов человека... он стремится к полному отчуждению, — к полному господству над природой. Существует только одно устремление, проявляющее себя в бесконечном движении, в бесконечных переходах в новые условия, к новым возможностям».

И вполне понятно, что в конце своей похвалы «отчуждению» Джилас восклицает: «Я отчуждаюсь — значит я человек».

Думаю, что нет нужды подробнее входить в деление Джиласом «отчуждения» на три типа: от общества, от природы и от самого себя, тем более, что последнее, как пишет Джилас, ему самому еще не вполне ясно. Однако ясно другое, а именно, что отчуждение, которое так восхваляет Джилас, не имеет ничего общего с отчуждением, о котором говорит Маркс. Я даже думаю, что Маркс мог бы с чистой совестью подписаться под мыслями Джиласа об отчуждении, заменив определение явлений, названных Джиласом «отчуждением», более принятыми терминами: прогресс, творчество, эволюция, развитие, революция. Или еще короче и вернее: *то, что Джилас называет «отчуждением», Маркс называл «практикой»*. Описывая «отчуждение», Джилас прекрасно иллюстрирует одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе, в котором говорится об «изменении существующего». Критика, которой Джилас подвергает Маркса, — только видимость критики. По Джиласу, «отчуждение» есть изменение существующих условий жизни на лучшие, более человеческие, а по Марксу, отчуждение уже заложено в существующем положении вещей, которое надо изменить, или, как сказал бы Джилас, подвергнуть «отчуждению». Здесь только видимость противоречия,

и хотя Джилас стремится нанести удар марксизму, в своем труде об «отчуждении» он не выходит за рамки марксистского мышления. Достаточно изменить термины — и утверждения Маркса и Джиласа по существу совпадут. Маркс считает, что важно изменить мир, Джилас думает, что его следует подвергнуть «отчуждению». Пользуясь различными терминами, оба хотят одного и того же.

Странно, что Джилас не замечает, как, говоря об «отчуждении», он в точности повторяет мысли Гегеля и Маркса, которые этот процесс называли «устранением отчуждения».

Сам же Джилас пишет, что, по Гегелю:

«Прогрессивное познание или овладение миром и есть преодоление отчуждения» (разрядка моя. — М. М.).

А по Джиласу:

«Отчуждение... есть не что иное, как изменение человека, изменение условий его жизни посредством технических и иных усовершенствований... Отчуждение, то есть усовершенствование техники и производства... Отчужденный, творческий человек... стремится к полному отчуждению — к абсолютному господству над природой...» (разрядка моя. — М. М.).

По Марксу, цель коммунистического движения — создать общество, в котором «неотчужденный человек будет свободно развивать свои способности», то есть творить.

По Джиласу, отчужденный человек — творческий человек.

Еще более странно звучит утверждение Джиласа, что «отчуждения, как его понимает Маркс, не существует», так как «отчуждение есть состояние человека, а эксплуатация это общественные отношения», и, следовательно, они не идентичны. Но ведь и по Марксу, отчуждение есть только следствие эксплуатации, то есть *состояние, вызванное общественными отношениями.*

Впрочем, и самому Джиласу не удастся избежать употребления понятия «отчуждение» в Марксовом, а не в своем смысле. Вот что он пишет о неомарксистах:

«Разве уход в теорию отчуждения не есть сегодня симптом отчуждения от действительности и от собственного ума, отдавание своего бытия, сущности своей личности во власть чужих сил?»

В духе классического марксизма Джилас говорит, что:

«Индустриальная революция, означавшая невиданный научный взлёт... обернулась жесточайшей эксплуатацией рабочих и крестьян».

Он обвиняет «социалистические» общества в том, что они не освободили человека. Если не углубляться в терминологические дебри, созданные необычным употреблением и определением понятия «отчуждение», то из этого логично было бы заключить не то, что свобода не нужна, как можно понять Джиласа, а что так называемый социализм не освобождает.

Следовательно, как пишет Джилас:

«Отчуждение человека от природы (Маркс), или от Бога (Фейербах), Маркс устраняет утверждением, что существующий мир надо изменить».

То же самое считает и Джилас, только вместо термина «изменение» он употребляет «отчуждение». В этом смысле от него и следовало бы ожидать похвалы всем революциям (в том числе и коммунистической) как образца «отчуждения» (по Джиласу). И сам собою встает вопрос: против чего, собственно, восстает Джилас и не есть ли его похвала «отчуждению» лишь признак духовного дальтонизма?

Но это, конечно, не так, и нам остается только пожалеть, что Джилас не придерживался термина «отчуждение» в Марксовом понимании. Его мысли тогда стали бы яснее и полемизировать с ним было бы проще.

III

Суть подлинного, а не только терминологического конфликта с Марксом полностью раскрывается в одной фразе Джиласа:

«Даже если бы человек познал, в чем сущность, — он в нее не смог бы возвратиться, потому что он ее и не покидал».

В этом и заключается подлинный конфликт.

Несмотря на то, что весь пафос марксизма питается историей и в ней же проектируется, в пафосе все-таки присутствует незримое религиозно-метафизическое ядро, управляющее им и постоянно входящее в столкновение с марксистской, и не только марксистской идеей исторического прогресса. Отсюда проистекают и все другие противоречия: «царство свободы» создается при помощи диктатуры, развитие техники якобы ведет к устранению разделения труда и т. д. Это движущее и одновременно религиозно-метафизическое ядро марксизма наиболее четко обнаруживается в теории отчуждения (в Марксовом смысле). Джилас совершенно правильно заметил, что самое понятие «отчуждение» у Маркса обладает скрытым религиозным характером. При этом Джилас мог бы процитировать апостола Павла, который говорит об отчуждении и рабстве не только человека, но и всего живущего в мире, подверженного закону смерти, всего живого, которое в муках стонет и ждет избавления. Говоря языком религии, человек *отчужден от Бога, то есть от свободы*, и находится во власти законов природы вместо того, чтобы законами природы владеть, как это было по Великому Мифу в момент творения. По Марксу же, который в Великий Миф уже не верил, человек отчужден от своего «естественного бытия», в котором он должен быть якобы свободным и к которому возвратится в грядущем «царстве свободы». Всё остальное в марксизме — только техника создания «царства свободы», осуществляемого в исторической плоскости.

И по Библии, и по Марксу, человек *отчужден от свободы*. Именно в этом болезнь человечества. Но Библия и Маркс ставят различные диагнозы этой болезни и предлагают разные способы лечения. Однако ни библейская, ни марксистская суть человека — свобода — не есть историческая категория. Только Библия последовательна и не строит «царства свободы» в исторической реальности. А Маркс, верящий только в историю и отбрасывающий всё потустороннее, помещает «царство свободы» на землю, в исторические рамки. Но если бы мы были последовательны и не нарушали границ идеи исторического прогресса, как хотел Маркс, то должны были бы вместе с Джиласом установить, что «человек не может возвратиться в свою сущность, потому что он ее никогда не покидал». Если же это так, то «отчуждаться» он может только от того, что существует. Тогда нам станет более доступной та *психологическая* причина, по которой Джилас меняет смысл понятия «отчуждение»: в начале истории не было никакой свободы, ни в библейском, ни в Марксовом значении этого слова, к более же свободной жизни нас ведет шаг за шагом исторический прогресс, в особенности научно-технический, и прогресс этот не имеет конца. Как известно и как об этом упоминает Джилас, команда «Аполлона» высадилась на поверхность Луны. Что же касается веры в исторический прогресс, мы могли бы прийти к выводу, что Джилас более последовательный марксист, чем Маркс.

Неудобство лишь в том, что идея исторического прогресса требует ответа на вопрос о направлении этого прогресса и о возможностях человеческого влияния на него. По Джиласу, каким-то образом выходит, что прогресс (или «отчуждение», как он его называет) автоматически ведет к гуманизации человеческой жизни, к власти человека над природой и так далее, — и всё это лишь потому, что «человек есть человек». Если исходить из такой точки зрения, то исторический прогресс

есть не что иное, как естественное развитие человека, вроде произрастания растений. На вопрос же о том, что же все-таки делать человеку, находящемуся в положении наемного рабочего времен начального периода концентрации капитала, или советского зека, или американского негра, или же человека, умирающего от неизлечимой болезни, или искалеченного в дорожной катастрофе, — Джилас отвечает:

«Прежде всего, ни один человек в здравом рассудке не ощущает себя отчужденным (в Марксовом смысле. — М. М.) потому, что природа отлична от него или что ему непонятна функция созданных его руками предметов: он просто ощущает себя недостаточно образованным или недостаточно награжденным...»

Но это только уход от ответа на поставленный вопрос. Или историческая жизнь человека подчинена каким-то законам, на которые он не может влиять, с чем Джилас не хочет согласиться (вспомним его похвалу «отчуждению» как свободному творчеству человеческого гения), или прогресс зависит от человека. Но в этом случае главная проблема — в определении цели и направления развития прогресса.

Если существует возможность выбора цели и направления исторического развития, то это означает, что человек не полностью зависит от законов природы, что он носит в себе частицу чего-то, что мы в остальной природе не находим и что, таким образом, *внеприродно* или *надприродно*. Это — свобода, свободная воля. Если бы Маркс не был ослеплен «научностью» XIX века, то он, отбросив историко-экономический детерминизм, провозгласил бы, что хотя исторический прогресс и не ведет к коммунизму, но «царство свободы» тем не менее можно осуществить, если за него бороться, — что, впрочем, на практике и делалось. Правда, в этом случае Маркс должен был бы признать дуализм человека, потому что в исторически-природном мире никакой сво-

бодной воли, или того, что в религии называют «дух», нет. Все же старания Маркса были направлены на то, чтобы удержать человеческую мысль в плоскости природы-истории. Для Джиласа этой проблемы не существует, и он свободно себя чувствует в исторической плоскости. Он пишет:

«Кто из религиозных мыслителей сегодня утверждает ... традиционную априорную двойственность человека?»

Между тем именно эта двойственность и свидетельствует об ином измерении, в котором человек поднимается над эмпирической исторической реальностью, остающейся вне сознания и Джиласа, и его идейного противника Герберта Маркузе, который, несмотря на свою «революционность», остается человеком *одного измерения*, и именно исторического.

Причины, почему Маркс отрицал дуализм человека (а Ленин приходил в бешенство при малейшем упоминании об этой «поповщине») в том, что для достижения *цели, в которую они верили*, им надо было убедить людей, что «отчуждение», или несвобода, есть только следствие *неправильных историческо-общественных отношений* и что при перемене этих отношений несвобода исчезнет. Посмотрим, каким религиозным языком описывает Маркс «царство свободы»:

«Этот коммунизм... *подлинное* решение конфликта между человеком и природой, людей между собою... между свободой и необходимостью, между индивидуумом и родом. Он есть решение загадки истории и знает, что он есть это решение»*.

И если бы Маркс не жил в XIX веке, он несомненно написал бы в Коммунистическом манифесте, что каждый, кто падёт на баррикадах в борьбе за коммунизм, будет вечно жить в грядущем «царстве свободы». Но

* K. Marks i F. Engels. Rani radovi. „Kultura“. Zagreb 1953. Str. 228. (Сверено по — Karl Marx. Ökonomisch-philosophische Manuskripte. S. 184. — Я. Т.).

как в нем жить вечно, если оно историческое? Между тем тот, кто отрицает абсолютное, вынужден абсолютизировать относительное. Абсолютизирование истории, утверждение существования социально-экономического детерминизма, исключающего возможность свободного выбора будущего, Марксу было необходимо, чтобы заставить людей верить *в его выбор будущего*. Совершенно ясно, что трагедия человеческой жизни на земле не коренится только в порабощающей общественно-экономической системе и что поэтому ее невозможно разрешить при помощи социальных революций. Джилас совершенно прав, когда отрицает мысль Маркса, что корень «отчуждения» — в разделении труда и что при высоком техническом развитии это разделение исчезнет, а не усугубится.

Но Джилас неправ, что:

«...ни один человек в здравом рассудке не ощущает себя отчужденным... он просто ощущает себя недостаточно образованным или недостаточно награжденным».

Мир действительно несвободен и болен, хотя бы, например, коммунизмом тоталитарного типа, против которого устремлены духовные усилия Джиласа.

IV

Один из аргументов против марксизма, который кажется Джиласу необычайно важным, это утверждение, что марксизм ненаучен, что отправные точки Маркса и его прогнозы не соответствуют научно установленным фактам. Историческое развитие показало, что рабочий класс при росте капитализма не нищает, а наоборот, богатеет; что социалистические революции одержали победу в отсталых странах, а не в наиболее развитых, как утверждал Маркс; что вследствие ликвидации частной собственности создан новый партий-

но-бюрократический класс, а не зачатки бесклассового общества и т. д. и т. п.

Всё это полностью соответствует действительности и всё же эти аргументы могут быть употреблены как раз против самого Джиласа. Его утверждения, что марксизм — не наука, а вера, что Маркс сначала поверил в коммунизм, а затем уже начал искать доказательств для своей веры, свидетельствуют о двух различных вещах: о вере в возможность осуществления «земного рая» в рамках истории и о науке как *нейтральном* средстве, способном служить любой цели, в том числе и коммунистической. Странно, как Джилас этого не замечает. Из книги Джиласа «Несовершенное общество» ясно видно, что и сам Джилас сначала перестал *верить* в коммунизм, а только потом уже отыскал этому «научные» подтверждения.

Сама по себе наука вообще не высказывается ни за, ни против коммунистических целей и учения. Наука не ставит себе и не достигает никаких гуманных целей, а сама обусловлена целями, поставленными ей заранее. Из научно доказанного факта, что рабочие подвергаются эксплуатации или что у интеллигенции нет свободы слова, никак не вытекает, что рабочих нельзя эксплуатировать и что надо добиваться свободы слова. Из научного факта, что при разложении атомного ядра освобождается громадная энергия, ни в коем случае сам по себе не следует вывод, что надо создавать атомную бомбу, или атомную электростанцию, или навсегда запретить атомные исследования. Наука отвечает на вопрос: что и как надо делать для достижения такой-то цели, но самой цели наука не определяет даже в том случае, когда научное познание становится самоцелью, — потому что и в этом случае цель была заранее поставленным условием, а не результатом научного исследования. Наука ничего не говорит о том, что надо создать более справедливое общество, так же, как патология в медицине ничего не говорит о том, что человек должен быть

здоровым. Требование справедливого общества или здорового тела есть предварительные условия социологии или медицины, поскольку исследования в этих областях можно вести и в противоположном направлении, о чем говорят недавние исторические события.

Стержень всего коммунизма — вера в возможность создания «царства свободы» в рамках истории и общественно-экономического прогресса при помощи насилия — «повивальной бабки истории». Это и есть сущность коммунизма. А любые научные факты либо не относятся к делу, либо имеют второстепенное значение. Лучший пример этому — Октябрьская революция и Ленин, то есть как раз тот самый пример, который приводит Джилас, чтобы разбить коммунистическую идею. Это верно: Ленин своими утверждениями, что социалистические революции возможны и в странах с неразвитым капитализмом и с весьма малочисленным рабочим классом и что именно такие страны «самые слабые звенья капитализма», — поставил на голову всё Марксово учение о том, что базис определяет надстройку.

По Марксу, самые слабые звенья — страны с наиболее развитым капитализмом и самым многочисленным пролетариатом. И все-таки Джилас пишет, и он совершенно прав, что Ленин — марксист. То же относится и к сталинскому «построению социализма в одной стране». Сталин тем не менее марксист, — и тут Джилас прав. А разве что-либо существенно изменилось бы в облике коммунистической диктатуры, если бы по инициативе «новой левой» в западных странах монопольную власть захватил бы «авангард» нынешних «отчужденных» — «цветные» студенты и т. п. (ведь «авангард» рабочего класса там слишком зажиточен, чтобы совершать революции). Вероятно, ничего. И разве имел бы какое-нибудь значение факт, что исторические прогнозы Маркса и тут оказались неверными? Дух коммунизма — построение «царства свободы» насилием — существует сегодня, как и во времена Маркса, а мо-

жет быть, даже еще более укрепился, и никакие «научные факты» — не аргументы против марксизма. Можно даже высказать парадоксальную мысль, что марксизм существовал всегда, но что невиданного расцвета он достиг в XX веке.

И как бы ни был марксизм ненаучен, вера в науку и марксистская вера — родные сестры, потому что обе они базируются на прогрессивном овладении и миром и природой, в том числе и природой человека; для них аксиома, — что власть дает свободу. Такое овладение, как мы указали, Джилас называет «отчуждением». Но следует еще раз подчеркнуть, что вера в науку и сама наука — не одно и то же.

V

Джилас, мне кажется, прав, утверждая, что нынешние марксистские или неомарксистские философы — второразрядные мыслители, но думаю, он неправ, утверждая, что учение Маркса «до сих пор живо, главным образом, потому, что превратилось в консерватора бюрократических 'социалистических' структур». Разве «новую левую» поддерживают силы государства? Разве неомарксизм институализирован? Лично я еще не вижу целостной идеи, которая могла бы быть противопоставлена марксизму; к сожалению, не вижу ее и у Джиласа. Опасность рецидива тоталитаризма у «новой левой» вовсе не в правильном утверждении, что люди нашего времени «отчуждены» (в Марксовом понятии) и несвободны, а в вере, что диктатура и насилие могут освободить человека. Любое же насилие, стремящееся к «упорядочению жизни человечества», глубоко связано с духовной слепотой и уверенностью, что жизнь существует только в одном плане — историческом. И до тех пор, пока мы будем жить в этом одном измерении, насилия нельзя будет избежать, даже если насилие партократии будет заменено научно обоснованным насилием

технократии. Человек все-таки, говоря старым языком, — мост между двумя мирами, миром духа и миром природы. Вследствие же духовной слепоты, вызванной рационализмом нового века и верой в науку, реальное устремление человека к абсолютному проектируется на исторически-социальной плоскости, которая не абсолютна и в которой возможна только относительная свобода; она не имманентна исторической сфере и полностью зависит от внеисторических духовных измерений. *Свобода — не следствие, а причина исторического процесса!*

Оставаясь в природно-исторической плоскости, невозможно переспорить ни Маркса, ни «новую левую». Это станет возможным только после духовного преодоления марксизма, преодоления *веры* в историческую одномерность жизни.

Также и критику любого современного варварства следует начинать с критики атеизма. Перефразируя Маркса, скажем так: отчуждает человека от жизни духа, от свободы именно вера в то, что жизнь одномерна.

VI

Однако, судя по всему, прорыв в другие измерения жизни должен сопровождаться определенными духовными процессами, вызываемыми разрушением веры в коммунизм; без этой веры и ее разрушения — такой прорыв случается редко. Мало кто знает, что в самом начале этого столетия первый такой прорыв был совершен русскими мыслителями, теми, что в самом конце прошлого столетия вносили в Россию марксизм и были участниками так называемого первого марксистского фронта, свидетелями первой русской революции — 1905 года. Это Бердяев, Струве, Булгаков, Франк. Их сборник «Вехи», вышедший в 1909 году, остается и сегодня важной вехой на пути преодоления марксистской

веры в насилие. На том же пути стоит одиноко Лев Шестов — быть может, самый крупный из них.

Интересно наблюдать за параллельностью в процессах духовного преодоления марксизма у Джиласа и Бердяева — тоже бывшего марксиста. Уже в конце тридцатых годов этого века Бердяев дал определение, краткую характеристику и саму формулировку «нового класса». Джилас, не зная об этом, четверть века спустя озаглавил так свою знаменитую книгу. То же самое повторилось со второй книгой Джиласа «Несовершенное общество». Его идею и понятие дал за несколько десятилетий до этого Николай Бердяев в своей книге «Судьба человека». А я свидетельствую, что Джилас, работая над «Несовершенным обществом», не был знаком с книгой русского философа. Сходство это позволяет надеяться, что по тому же пути пойдут все, кто в духе и на практике переболели коммунистической верой.

В отличие от Бердяева, Джилас, однако, еще не дошел до конца своего пути преодоления одномерности исторического процесса, о чем свидетельствует и анализируемая нами работа.

Другой бывший коммунист, Иньяцио Силоне, в своей последней книге* пишет, что самым крупным событием в жизни многих людей его поколения в течение последнего десятилетия было новое открытие христианства. Нет сомнения, что в таких случаях это не «научное познание», а именно *открытие*, потому что оно — других измерений и дает человеку возможность сопротивляться историческому насилию любых тоталитарных систем и организаций, включая сюда и исторические церкви. Если часть человека не принадлежит к природно-историческому миру, то она и не умирает вместе с частью, которая к этому миру принадлежит, а значит и власть этого мира над человеком не абсолютна, и притом

* Иньяцио Силоне. Судьба одного бедного христианина. Edizioni scientifiche italiane. Napoli. 1968.

вовсе не потому, что бессмертие души, глубочайшего «я» каждого из нас, зерна свободы, морально или необходимо или что-либо в этом духе, а просто потому, что это *реально так*, если хотите, — вопреки всякой морали. Если же этой реальности не существует, — тогда ленины и сталины действительно непобедимы. К счастью, это не так, несмотря на то, что они ведут непрестанную борьбу против жизни духа.

Резюмируя, надо сказать следующее.

Критика Марксовой теории отчуждения Джиласом — только кажущаяся, потому что он всё еще находится в рамках мышления, в которых создавался и марксизм. Джилас сам пишет, что человек не создал ни природу, ни самого себя, но не понимает при этом, что человеком не могло быть также создано и то самое невероятное, самое надприродное, что нам известно в жизни, а именно — свобода, свободная воля. Джиласу кажется, что свобода есть некая производная человеческого развития, и он не видит, что свобода есть предварительное условие любого развития и тем самым не может иметь корней в истории. Другое дело — осуществление свободы, оно всегда конкретно и исторично. Но уже вопрос прогресса свободы — весьма проблематичен. Непрерывающаяся борьба за свободу в истории как раз и доказывает, что человек уже был создан свободным и что не было бы никаких мифов о «павшем» человеке, мифов об «отчужденном» человеке и, наконец, — неврозов, если бы свобода была только результатом прогресса. Тоску по свободе может ощущать только тот, кто в первооснове своей свободен, но повержен в несвободу. Как прекрасно сказал Кафка: «Кто может тосковать по утерянному королевству? Только свергнутый король».

Маркс прав, когда утверждает, что человек отчужден (несвободен), но как сама его теория, так и предлагаемые им пути преодоления отчуждения историческим насилием говорят о том, что и сам он был глубоко отчужденным человеком (конечно, не в смысле формули-

ровки Джиласа) и что именно его учение об освобождении — не лечение, а наиболее яркий симптом болезни. Человек отчужден не от какого-то абстрактного «бытия», а от реального внеисторического центра собственной личности и одновременно от внутреннего стержня свободы. Если говорить об этом стержне на языке религии, то человек создан по образу и подобию Божьему. Человек отчужден или раздвоен (вспомним, что дьявол — «*диаболо*» — мифический *разделитель*). Наивно и легкомысленно отрицать существование болезни в то время, как она существует, хотя Маркс поставил неверный диагноз, а следовательно, и предложил неверное лечение. Маркс во многом напоминает тех библейских пророков, которым Бог повелел: иди и ослепи народ сей — пусть смотрит и не видит, слушает и не слышит! По современной истории мы видим, что наказание слепотой всё еще продолжается.

Без уразумения реальности иных измерений идущей борьбы невозможно ни критиковать марксизм с каких бы то ни было «научных» точек зрения, ни одолеть тоталитаризм. Теорию и практику марксизма можно всегда изменять, — «наиболее слабым звеном» будут то развитые, то малоразвитые страны, носителями «революционного насилия» будет то пролетариат, то крестьянство, то «цветные» и т. д. и т. п., но дух марксизма — создание тоталитарной диктатуры — от этого ничего не теряет. В центре любого тоталитаризма, — *вера, что власть дает свободу*. Противопоставить этой вере можно только *веру* в то, что всякая власть порабощает, в первую очередь того, кто властвует, и что терпеть насилие — такой же грех, как его совершать.

VII

В упомянутой нами книге Иньяцио Силоне герой говорит своему противнику, папе римскому, представителю веры в исторически-земное царство:

«Ваше Святейшество, если вы посмотрите вон в то окно, вы увидите на лестнице перед собором оборванную старушку, нищенку, существо, которое в жизни мира сего ничего не значит; она сидит там с утра до вечера. Но через миллион лет, через тысячу миллионов лет душа ее будет существовать, потому что Бог создал ее бессмертной. А неаполитанское королевство, Франция, Англия, все другие государства с их армиями, судами, прочим — все они обратятся в ничто» (стр. 264).

И этим сказано всё о «царстве свободы» на земле и в истории, в истории, не существовавшей бы без бытия надысторического, которое одни называют Богом, другие — свободой, третьи — целью; бытия, не имеющего никаких связей с естественными законами развития, которыми только и в состоянии заниматься наука.

Белград, июнь 1971 г.

Перевод с сербскохорватского

ПРИЛОЖЕНИЕ: БИОГРАФИИ

Милован ДЖИЛАС родился 11.6.1911 г. в Черногории (с. Поля вблизи г. Колашин). Изучал юриспруденцию и литературу в Белградском университете. В 1932 г. стал членом КПЮ и в том же году был арестован за коммунистическую деятельность. В заключении пробыл до 1935 г. (в тюрьме ему удалось изучить русский язык). В 1937 г., во время внутрипартийных тренировок, Джилас примкнул к Тито, который реорганизовывал коммунистическую партию Югославии. С 1937 г. он — член центрального комитета КПЮ, а с 1940 — член Исполнительного комитета ЦК КПЮ.

После оккупации Югославии войсками Гитлера и Муссолини, Джилас продолжает подпольную работу и по заданию руководства партии участвует в подготовке восстания и в восстании. В 1943 г., в занятом партизанскими частями городе Яйце, про-

исходит вторая сессия Антифашистского веча народного освобождения Югославии, провозгласившего себя верховным органом страны с правами парламента. В выделенном этим органом и объявленном временным правительством страны Национальном комитете освобождения Югославии Джилас занимает пост министра. В 1944 г. он возглавляет миссию, направленную в Москву для переговоров с советским руководством*.

После окончания войны Антифашистское вече было переименовано во Временную народную скупщину, и Джилас, получив пост министра, входит в состав правительства. В 1948 г., во время известного конфликта югославского руководства со Сталиным, Джилас — секретарь Исполнительного бюро ЦК КПЮ. В 1953 г. он становится одним из четырех вице-президентов Югославии и в том же году — председателем Союзной народной скупщины. Джилас возглавлял делегацию Югославии на нескольких заседаниях ООН. Играл ведущую роль в подготовке югославской экономической реформы, которую впоследствии (когда Джилас уже находился в тюрьме) правительство начало проводить в сокращенном и искаженном виде, в первую очередь отбросив проект политических изменений строя.

В начале 50 гг. Джилас вошел в резкий конфликт с партией и правительством, открыто выступив против перерождения Союза коммунистов в правящий и вдобавок морально разлагающийся класс. В газете «Борба» с октября 1953 по январь 1954 г. он опубликовал ряд статей, в которых обвинял режим в переходе на сталинские методы управления, настаивал на создании второй социалистической партии, ратовал за невмешательство партии в работу судебных органов. «До каких пор мы будем пользоваться аргументами идеологии, а не закона? — писал он. — До каких пор судебные приговоры будут у нас выноситься не на основании закона, а на основании диалектического и исторического материализма?»**

* Подробно эту поездку М. Джилас описал в книге «Разговоры со Сталиным». В переводе на русский язык вышла в изд-ве «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1970 г. — Я. Т.

** «Борба» от 31. 12. 1953 г. — Я. Т.

БИОГРАФИИ

17. 1. 1954 г. III внеочередной пленум ЦК СКЮ* сместил Джиласа со всех партийных и правительственных постов. Советские источники объясняют это тем, что его «...антимарксистские, антиленинские ревизионистские устремления... были фактически направлены на ликвидацию СКЮ**. Джилас был лишен депутатского мандата Черногории, а в марте 1954 г. исключен из партии.

24. 1. 1955 г. Джилас условно приговаривается к полутора годам тюремного заключения за «клеветнические заявления, в которых он злонамеренно изображал в искаженном виде положение в Югославии».

Когда вспыхнуло Венгерское восстание, Джилас открыто его одобрил и критиковал Тито и коммунизм. Власть ответила новым, уже не условным, приговором к трем годам тюремного заключения.

В это самое время Джиласу удастся передать на Запад рукопись своей приобретшей впоследствии всемирную известность книги «Новый класс». В связи с ее опубликованием (октябрь 1957 г.) Джиласа опять судят и приговаривают к 7 годам. В январе 1961 г. его досрочно освобождают, однако вскоре снова арестовывают, т. к. выясняется, что за несколько месяцев он успел написать и передать на Запад (очевидно, обдуманную и выношенную во время заключения) книгу «Разговоры со Сталиным». На этот раз суд, все еще выносящий приговоры на основании диалектического и исторического материализма, обвинил его в том, что он якобы «разгласил государственные тайны».

Оказавшись снова в тюрьме, Джилас пишет там серию рассказов («Прокаженный», «Шудикова» и др.), книгу о светском и церковном правителе Черногории владыке Петре II Негоше, изучает английский язык и переводит на сербскохорватский язык «Потерянный рай» Мильтона. Заключение он отбывал в г. Сремска Митровица, в известной всей Югославии тюрьме, построенной еще во времена Австро-Венгрии.

* КПЮ переименована в Союз коммунистов Югославии — СКЮ — в ноябре 1952 года на VI съезде партии. — Я. Т.

** БСЭ. Второе издание, 1957 г., т. 49, стр. 334. — Я. Т.

В декабре 1966 г. Джиласа освобождают из-под стражи, но не восстанавливают в правах: он лишен права голоса, ему не возвращают боевых наград, в Югославии он не имеет права печатать свои произведения и открыто выступать. Однако через некоторое время ему (под нажимом западного общественного мнения или в надежде, что он не возвратится) выдают паспорт и разрешают выезд за границу, где он выступает с лекциями, дает интервью, получает литературную премию. В 1969 г. на Западе, в переводе на иностранные языки, выходит его книга «Несовершенное общество», распространение которой в Югославии запрещено.

В апреле 1970 г. М. Джилас готовится к новой заграничной поездке, во время которой намеревается прочесть серию докладов. Однако за несколько дней до отъезда из Белграда у него отбирают заграничный паспорт, вероятно, не без нажима советского правительства, которое могло опасаться, что Джилас в своих докладах будет высказывать неортодоксальные мысли о Ленине, поскольку поездка Джиласа совпала со столетним юбилеем «Ильича».

Несмотря на то, что официальные круги и печать Югославии как правило о Джиласе молчат, а если упоминают, то редко и для того, чтобы оклеветать, — страна хорошо знакома с его идеями. Имя М. Джиласа широко известно также на Западе и весьма популярно в оппозиционных кругах социалистических стран, в частности, у нас на родине. Наиболее широко известен в СССР его «Новый класс», который распространяется как в виде поступающей с Запада книги, так и в самиздатовских выпусках. Власть весьма опасается мыслей М. Джиласа, и лица, у которых обнаруживают его произведения, жестоко преследуются (вспомним хотя бы случай известного оппозиционного деятеля и политкаторжанина Владимира Буковского — в первый раз он был арестован органами КГБ 1. 7. 1963 г.* и продержан полтора года в Ленинградской тюремной психиатрической боль-

* См. «Казнимые сумасшествием», стр. 34. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1971 г. — Я. Т.

БИОГРАФИИ

нице за то, что у него при обыске были найдены две *фотокопии* «Нового класса»).

Михаил (Михайло) Николаевич МИХАЙЛОВ родился 26.9. 1934 г. в Югославии (г. Панчево). Его отец — ученый агроном, мать — преподавательница математики и французского; оба родились в России.

Михайлов окончил гимназию в Сараево. В Белградском университете изучает литературу, заканчивает университет в Загребе (работа о Достоевском), получает место ассистента в приморском городе Задар (там один из факультетов Загребского университета).

Писать Михайлов начал рано. Много переводит с русского на сербскохорватский язык. С 1961 по 1964 г. публикует более тридцати статей, главным образом, о русской литературе, в загребских и белградских журналах. В 1964 г. загребский литературный журнал «Коло» (№№ 6 и 7) начинает печатание работы М. Михайлова «Достоевский сегодня», которое запрещают и снимают редактора. В ответ Михайлов рассылает открытое письмо в редакции, резко протестует и требует разбора дела в открытой дискуссии.

В том же 1964 г., в рамках культурного обмена между Югославией и СССР, Михайлов едет в СССР, а после возвращения пишет путевые записки «Лето московское 1964»*. Белградский литературный журнал «Дело» в январском и февральском номерах за 1965 г. опубликовал два продолжения (из трех) записок Михайлова, после чего последовал резкий протест советского посольства в Белграде, на который реагировал лично Тито, призвав к себе представителей прокуратуры и упрекнув их в отсутствии бдительности. В тот же день февральский номер «Дела» был запрещен. Печать начинает травить Михайлова. 4 марта его арестовывают.

* Книга приобрела широкую известность и переведена на много языков. По-русски: Михайло Михайлов. Лето московское 1964. Мертвый дом Достоевского и Солженицына. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1967. — Я. Т.

Следуют резкие протесты в западной печати (в частности, членов Пен-клуба, заседавшего в те дни в Югославии). Только этим, — так думает и М. Михайлов, — можно объяснить «мягкий» приговор суда: пять месяцев тюремного заключения условно (согласно ст. 125 Закона о печати, — «распространение ложных сведений» о дружественном государстве). Обвинение базируется на 24 строках из «Лета московского 1964», где говорится о том, что советские концентрационные лагеря существовали задолго до гитлеровских, что расстрелы без суда и следствия практиковались в СССР задолго до прихода к власти Сталина и что диктатура в СССР занималась геноцидом задолго до национал-социалистов. То обстоятельство, что Тито, ссорясь со Сталиным, говорил то же самое в более эмоциональной и резкой форме*, на приговор не повлияло: политическая обстановка за это время изменилась и суд посчитал злом то, что недавно было добром.

Несмотря на то, что органы власти и суд — в этом и в иных случаях — явно пренебрегали законами и шли на прямое их нарушение, Михайлов, подобно многим представителям нынешней оппозиции в СССР, решил не следовать этому примеру, а всегда четко соблюдать законы страны и опираться на них, обороняясь от произвола диктатуры. Он пришел к заключению, что для свободного высказывания мыслей необходимо создать в Югославии собственный оппозиционный печатный орган, но,

* См., например, его речи, опубликованные в газете «Борба» от 29. 7. 1951 г., от 4. 2. 1952 г., или его речь на VI съезде СКЮ 3. 11. 1952 г., где он сказал, что в СССР «...совершается невероятное преступление геноцида, ...на глазах у всего мира уничтожаются целые народы. Где республика немцев Поволжья, в которой жил один из самых талантливых народов? Она в сибирской тайге! Где республика крымских татар? Нет ее, она исчезла в Сибири, в тайге и в болотах!.. Где тысячи и десятки тысяч граждан Эстонии, Латвии и Литвы? Нет их, их ежедневно отправляют в Сибирь... Кто же после этого преступник, кто занимается геноцидом, кто уничтожает народы и совершает массовые убийства?» — Я. Т.

БИОГРАФИИ

размышляя над этим вопросом, думал не столько над тем, как к этому отнесется власть, сколько о том, разрешено ли это конституцией и законами. Югославский закон о печати либеральнее советского — в нем значится, что группа в пять человек может, без предварительного разрешения, создать орган печати. М. Михайлов и его друзья были первыми гражданами социалистической Югославии, решившими воспользоваться этой статьей закона.

Во время предварительной работы по созданию журнала М. Михайлов пишет труд, в котором анализирует положение каторжан в прошлом и нашем веке на основании «Записок из мертвого дома» и «Одного дня Ивана Денисовича» («Мертвый дом Достоевского и Солженицына», см. сноску на стр. 179), а также ряд статей (например, «Выстрел в спину народа» — в защиту Синявского и Даниэля, «Джилас и сегодняшняя Югославия» — в защиту Джиласа и его идей, «Чего хотим и почему молчим»? — о положении интеллигенции в социалистических странах*).

Съезд основателей журнала, на который должно было приехать около 30 человек, был назначен на 11 августа, а 8 августа М. Михайлова арестовывают. Однако инициативная группа, в которой был предусмотрен такой шаг власти, выносит решение о создании журнала. Эти события сопровождаются широкой кампанией клеветы в югославской прессе и волной протестов на Западе.

22-23 сентября происходит суд в г. Задаре, в обстановке, характерной для Югославии: из югославских граждан в зал суда впущены почти исключительно активисты, но допущены и западные журналисты, адвокат произносит смелую и убедительную речь в защиту подсудимого, однако судья не разрешает выступить с защитой самому М. Михайлову. Обвинение (по статьям 125 и 292/а — распространение ложных сведений и запрещенной литературы) базируется на вырванных из контекста фразах из статей М. Михайлова**. Приговор гласит: год тюрем-

* По-русски см. «Посев» от 14. 2. 1966, 20. 5. 1966, 24. 10. 1966.

** Документы процесса см. «Materijal o slučaju Mihajlo Mihajlov», Possev, Frankfurt/M., 1966. — Я. Т.

ного заключения и год запрета открытых выступлений, устных и в печати. 12. 11. Верховный суд отвергает апелляцию, и Михайлова арестовывают. Его друзья продолжают работать над созданием журнала, но вскоре также попадают в тюрьму.

В тюрьме против Михайлова начинают новое дело, отыскивая для этого более «веские» статьи 117 и 118 УК (создание подпольной организации, вражеская пропаганда), чреватые сроками до 12 лет. 17-19. 5 1967 г. в Белграде его приговаривают к 4½ годам тюремного заключения и 4 годам запрета выступлений устно и в печати. Первый период заключения в тюрьме г. Пожаревац протекает в тяжелых условиях: М. Михайлов требует, чтобы начальство тюрьмы поступало с ним соответственно правилам о политических заключенных и объявляет голодовку; помещенный в т. н. «ледник», он тяжело заболевает. Впоследствии для Михайлова (и других политических заключенных) создаются более сносные условия. Конец срока Михайлов отбывает в Сремской Митровице.

По выходе из тюрьмы его не принимают ни на какую работу. Несколько западных университетов предлагают ему место, но власти не выпускают его за границу. М. Михайлов работает над докторской диссертацией о Достоевском, а через некоторое время начинает публиковать статьи в западной печати. Это не противоречит букве закона, однако в январе 1972 г. суд его снова привлекает к ответственности за публикацию статей в «Нью-Йорк таймсе» — на основании того, что в Югославии по подписке поступает 6 номеров этой газеты и, исходя из этого, ее можно приравнять к прессе, распространяемой в Югославии, в которой М. Михайлову выступать запрещено.

Встреча с Розановым

«...Думая о Розанове, невольно вспоминаешь распад атома, освобождающий огромное количество энергии»¹.

«...самые поверхностные высказывания Розанова... связаны с самыми глубокими корнями его бытия. За видимым хаосом, разорванностью, противоречивостью, приоткрывается тихая глубина»².

В предисловии к долгожданному новому изданию последних произведений В. Розанова³ Генрих Штамлер сравнивает писателя с древним богом Протеем, богом морских глубин, по желанию меняющим свой постоянно неуловимый облик.

С первого взгляда определение это на редкость удачное. Трудно найти в истории русской литературы и мысли писателя, которого бы критика причисляла к большему количеству совершенно противоположных литературных, идейных, религиозных и политических течений. Розанов одновременно верноподданный монархист и ничего не уважающий анархист, литературный модернист и «классик по форме», правоверный православный христианин, язычник древнегреческого или древнеегипетского образца, а то и прямо полный атеист.

В моральном отношении дело обстоит не проще: Розанов — скупой и щедрый, развратник и любящий отец семейства, верный друг и никого не уважающий эгоист.

Казалось бы, в чем дело? Где искать подлинного Розанова? Существует ли он вообще? Не встретимся ли мы в конечном счете, сорвав все маски, с черным пятном вместо лица?

Но все вопросы выясняются и опасения рассеиваются, когда от литературы о Розанове переходишь к его собственному творчеству, по крайней мере если встреча с Василием Васильевичем начинается с чтения его новоизданного «Избранного».

Конечно, противоречивость, «протейность» автора не исчезает вдруг, но по мере знакомства с ним она находит свое обоснование в самой личности, в самой жизни писателя, до крайних пределов обнаженной перед читателем. Знакомство с Розановым быстро переходит в задушевную беседу с ним, непреодолимое расстояние, отделяющее в «литературе» писателя и читателя, исчезает, уступает место спору до петухов «о самом важном» знакомых с детства друзей.

В известной мере эта статья является попыткой систематизации идей позднего Розанова. Для большинства «розановедов» — задача эта невыполнимая. Но мне кажется, что она невыполнима только при несколько отвлеченном отношении к писателю. Ключ к миру розановских идей существует, — он запрятан в самой личности, в самой биографии писателя.

Детали личной жизни Розанова можно искать в исследованиях о нем, но даже самые квалифицированные из известных мне мало уделяли места его «несложной» биографии⁴.

По сути дела достаточно прислушаться к самому писателю. Розанов подробно описывает свое детство в не любящей его семье, настаивает на полном лишении людской теплоты, на моральном и физическом холоде, в атмосфере которого происходило становление его личности. Очень многое, например, в будущем отношении Розанова к семье и Церкви объясняет следующий эпизод:

«Слушал пенье (в арке между теплой и холодной церковью). Красиво всё. Рассеянность. И будто потянуло что-то.

Я обернулся.

За спиной шага на полтора стояла мамаша и улыбнулась мне. Это была единственная улыбка за всю ее жизнь, которую я видел^{5*}.

В семье своей Розанов^{**} не получил того потенциала нежности и любви, который так нужен ребенку, чтобы преодолеть трудности психического развития, чтоб развить и укрепить свою самость в условиях внешнего и внутреннего добра и чтоб обеспечить ему включение в мир взрослых и общество без «трещин сознания».

Писатель до конца своей жизни не смог найти своего места в «мире взрослых», он остался вечным ребенком, не преодолевшим детства. Неоднократно он сам нам на это указывает:

«...я нигде 'не свой'; ... на земле нет места, где я бы почувствовал: 'мое', 'мне данное', 'врожденное'» («Опавшие листья», стр. 130).

«Всегда в мире был наблюдателем, а не участником» (там же, стр. 168).

«Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться. 'Мне и тут тепло'» («Уединенное», стр. 39).

Эмоционально не родившись, Розанов не может принять мира, ибо он жесток, тверд, лишен нежности, сладкой «влажности»:

«...Эврика — я не люблю скупости, воздержанности, сухой земли. Во-о-о: Я люблю влажное. Болотце люблю. Росу утреннюю

* В дальнейшем после каждой цитаты будут указаны название произведения В. Розанова и страница всё той же книги «Избранное». — Ред.

** Писатель род. 20.4/2.5.1856 г. в Ветлуге Костромской губ. Умер 5.2.1919 г. в Сергиевом Посаде, ныне Загорск. — Ред.

и вечернюю. Слезы люблю. 'Сухого гнева ненавижу' («Мимолетное», стр. 434).

Писателю нужна защита от мира, нужны символические преграды. Он увлекается «мелочами» — игрушками.

«...Глубочайшая моя субъективность (пафос субъективности) сделала то, что я точно всю жизнь прожил за *занавескою*, не снимаемую, не раздираемую» («Уединенное», стр. 54).

« У меня есть какой-то фетишизм мелочей. 'Мелочи' суть мои 'боги'. И я вечно с ними играюсь в день.

А когда их нет: пустыня. И я ее боюсь» («Опавшие листья», стр. 322).

Очень симптоматично следующее замечание писателя, уже стареющего человека:

«В сущности, я ни в чем не изменился с Костромы (лет 13). То же равнодушие к 'хорошо' и 'дурно'. Те же поступки по мотиву 'любопытно' и 'хочется'. Та же, пожалуй, холодность или скорей безучастие к окружающему» (там же, стр. 161).

Розанов остался (в какой-то мере, конечно) тринадцатилетним мальчиком, психологически и этически. Поэтому, как он пишет, в нем нет «настоящей *дейтельной* доброты и открытости» (там же, стр. 134).

Еще в детстве, когда ему даже не доверяли пойти в погреб за квасом «самому», в Розанове зародилась боль — «почти непрерывная» (там же, стр. 343).

«...Боль моя всегда относится к чему-то *одинокому* и чему-то *больному* и чему-то *далекому*; точнее: что я одинок, и оттого что не со мной какая-то даль, и что эта даль как-то *болит*, — или я болю, что она только *даль*... Тут есть 'порыв', 'невозможность' и что я *сам* и *все* 'не то, не то'...» (там же, стр. 344).

Вечный юноша Розанов навечно сохранил на первом плане основное стремление каждого юноши: дос-

тичь признания своей «самости» миром, Богом, обществом и т. д. Пути его для достижения этой цели будут различные, но их можно привести к общему знаменателю, сказав словами самого писателя, что он «невестился перед всем миром» (стр. 133). Это необычное слово в необычном употреблении, пожалуй, следует сопоставить с часто подмеченной критиками «женственностью» Розанова.

Розанов не ставит себе цель покорить мир, а хочет вовлечь его в свою интимность, хочет, чтоб мир его полюбил и чтоб он был одновременно и нежным, и властным к нему. Но сразу же важно подчеркнуть, что «женственность» писателя — отнюдь не слабость и безволие. В какой-то мере Розанов даже больше чем многие был сознательным главой семейства, добивавшимся не без труда обеспечения своих многочисленных домочадцев. И делал он это вполне сознательно:

«Лучшее в моей литературной деятельности — что десять человек кормилось около нее. Это определенное и твердое» («Опавшие листья», стр. 299).

Свои семейные промахи писатель переживает болезненно: это наглядно показывает его назойливо повторяющееся раскаяние в том, что не обратил в свое время достаточно внимания на здоровье своей жены — «друга» и «мамы».

«То, что я провозился с деньгами, нумизматикой и сочинениями вместо здоровья мамы, и есть причина, что я пишу «Уединенное». Ошибка всей жизни» (там же, стр. 350).

Привязанность к семье, любовные отношения в ее тесном кругу были одним из путей преодоления отчужденности Розанова от мира, и именно семейное тепло, семейное материнство больше всего прельщали писателя. Это правильно подметил Г. П. Федотов: «Лишь чадородие, то есть материнство, то есть жалостная, кормящая любовь, его вдохновляет»⁶.

Особенно интересны высказывания Розанова о детях и о педагогике. Они проникнуты исключительно тонким пониманием детской психологии. Часто идеи Розанова на десятки лет опережали концепции новейшей педагогики. Приведу лишь один пример мысли, на этот раз восторженно подхваченной у друга.

«Житейское правило, что *дети должны уважать родителей, а родители должны любить детей*, нужно читать наоборот: родители именно должны *уважать детей*, — уважать их своеобразный мирок и их пылкую, готовую оскорбиться каждую минуту, натуру; а дети должны только *любить* родителей, — и уже непременно они будут любить их, раз почувствуют это *уважение к себе*» («Уединенное», стр. 64).

У Розанова тема семьи часто естественно переходит в тему пола, а последняя совершенно логично выливается в проблематику зарождения, развития и смысла жизни. По его же схеме продолжим и мы знакомство с писателем.

По определению отца В. Зеньковского:

«Как из семени развивается растение, так из глубины ума развивается всё знание, — и этот образ 'семени' ... навсегда остался основным для Розанова»⁷.

«Вся метафизика человека сосредоточена для Розанова в тайне пола, — но это абсолютно далеко от пансексуализма Фрейда, ибо всё в тайне пола очеловечено у Розанова»⁸.

Бердяев же коротко, но предельно ясно определил Розанова-мыслителя: «Розанов мыслил не логически, а физиологически»⁹.

Мне думается, что Бердяев правильно понял писателя. Дело в том, что для Розанова пол — нисколько не «образ», а самая конкретная реальность. Пол и законы половой жизни — основа всех явлений жизни земной и жизни небесной. Пол — единственный и абсолютный критерий добра и зла. Законы пола тождественны с законами общественными идеального общества.

Даже связь человека с Божеством проходит через пол:

«Связь пола с Богом — бóльшая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом...» («Уединенное», стр. 50).

«Пол — краеугольный камень всего мироздания:

«Пол есть гора светов: гора высокая-высокая, откуда исходят светы, лучи его, и распространяются на всю землю, всю ее обливая новым благороднейшим смыслом» («Опавшие листья», стр. 159).

Розанов предлагает общественные мероприятия, совершенно конкретно воплощающие начало «пола»:

«...я предложил на Религиозно-Философских собраниях*, чтобы новобрачным первое время после венчания предоставлено было оставаться там, где они и повенчались (т. е. в церкви — Д. Р.)» («Опавшие листья», стр. 98).

Писатель считает, что брак должен быть обязательным для шестнадцатилетних юношей и четырнадцати с половиной лет девушек (там же, стр. 209). У него встречаются формулировки вроде следующей: «Всякий оплодотворяющий девушку сотворяет то, что нужно» (там же, стр. 398).

Тема пола у Розанова тесно переплетается с темой христианства:

«...’дела плоти’... (Иисус Христос — Д. Р.) объявил грешными, а ’дела духа’ — праведными. Я же думаю, что ’дела плоти’ суть главное, а ’дела духа’ — так, одни разговоры» («Апокалипсис нашего времени», стр. 466). «...Христианство должно хотя бы отчасти стать фаллическим...» («Опавшие листья», стр. 132).

* «Религиозно-Философские собрания» возникли в начале XX в. по инициативе Н. Бердяева для религиозно мыслящей части русской интеллигенции. На них обсуждались религиозные, философские и социальные вопросы, происходили встречи интеллигенции с духовенством. — Д. Р.

На первый взгляд многие из розановских мыслей кажутся очень близкими идейному фону современной западной «сексуальной революции». Но сходство это скорее внешнее. Как подметил отец В. Зеньковский (см. сноску 7), у Розанова пол, сексуальность не являются ценностью сами по себе, они всегда «очеловечены» и связаны с понятием семьи, рождения и в конечном счете с торжеством жизни над смертью.

Высказывания Розанова на тему пола порой очень грубы, но чаще — чрезвычайно поэтичны: муж должен оплодотворять жену, а она «входит запахом в мужа и всего его делает пахучим собою; как и весь дом» («Опавшие листья», стр. 418).

Для Розанова беременность — непременно завершение полового деяния.

«Волновали и притягивали, скорее же очаровывали — груди и беременный живот. Я постоянно хотел видеть весь мир беременным» (там же, стр. 157).

Это последнее высказывание очень симптоматично: по своей обычной схеме писатель начинает с обыденного, конкретного и плотского и неким скачком переходит из области плоти и случая в область общего, порой и духовного. Розанов всю жизнь был лишен «интуиции духа» (и он об этом часто скорбит), ему надо было мысленно проходить гораздо более трудный и неприглядный путь «интуиции плоти», чтоб достичь «горнего». К «горнему», впрочем, он иногда приходил не дедуктивным, а своеобразным диалектическим путем.

Приведу лишь один характерный пример этой розановской диалектики:

«...Женщина меня никогда не полюбит, никакая (тезис — Д. Р.). Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя, не эгоистически, а духовно (антитезис — Д. Р.), для будущего (синтез — Д. Р.) («Уединенное», стр. 19).

Но диалектичность, конфликтность вещей и идей — не по духу писателю, столь ценившему нежность и гармоничность, и он обычно предпочитает искать духовное посредством тела, а не вопреки ему.

«Без телесной приятности нет и духовной дружбы. Тело есть начало духа. Корень духа. А дух есть запах тела» («Опавшие листья», стр. 190).

Чтобы приблизиться к истокам жизни, познать ее тайну, нужно исходить из всего человека, не пренебрегая его самыми «низменными», животными или растительными началами.

«Полевые и лесные частицы в человеке едва ли когда-нибудь могут вовсе исчезнуть, и даже едва ли желательно, чтобы они вовсе изгладились» (там же, стр. 397).

Человек, лишенный животного и растительного, — умаленный, неполноценный и уже не может учиться у жизни, его окружающей, не может ей сострадать.

«...Что вещам 'больно', это есть постоянное мое страдание за всю жизнь. Через это 'больно' проходит нежность» (там же, стр. 161).

У природы есть чему научиться — и в нравственном, и во всех остальных отношениях:

«— Как природа невинна. И как поэтому благородна» (там же, стр. 88).

«Малую травку родить — труднее, чем разрушить каменный дом» («Уединенное», стр. 14).

Путь познания смысла бытия — путь природный, растительный...

«...да кой черт Д. С. Милль *выдумывал, сочинял*, какая 'цель у человека', когда 'я — есмь 'растущий' и мне надо знать: 'куда, во что (дерево) я расту, выращиваюсь'...» («Письма к Э. Ф. Голлербаху», стр. 544).

Поразительно выразил свою концепцию Розанов в следующей формулировке:

«...Нет вещи, которая бы не 'молилась', потому что она — 'растет'. И знает, что 'из точки' растет, из *отцовской точки*» («Апокалипсис нашего времени», стр. 478).

Здесь — вся метафизика и вся историософия Розанова, но к ним мы вернемся ниже.

Наблюдая в природе прекрасное, Розанов не упускает из виду и ее косность, мешающую стремлениям человека к «горнему».

«Любите врагов ваших. Благословляйте клянущих вас'... — Не могу. Флюс болит» («Опавшие листья», стр. 403).

Но истина «флюса» — истина поверхностная, и ее нужно преодолеть. Тогда становится ясным, что боль побуждает человека и к положительному, например, к молитве:

«*Боль жизни* гораздо могущественнее *интереса к жизни*. Вот отчего религия всегда будет одолевать *философию*» («Уединенное», стр. 12).

В природе господствует жизнь, но ее господство временно, относительно: в мире плоти смерть всегда побеждает жизнь. И для Розанова факт смерти не менее важный, не менее жизненный, чем факт жизни: тем более остро ощущается, переживается жизнь, тем ощутительнее, тем болезненнее факт ее исчезновения.

Розанов всю жизнь боролся со смертью, боялся ее всем своим телом и всей своей душой. Его чрезвычайно возмущал обывательский подход к смерти.

«Какой это ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого — 'смерть'. Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя ... ведь мы же об этом *ничего не знаем*» («Опавшие листья», стр. 105).

«— Господа! Предлагаю почтить усопшего вставанием.

Все встают.

Кроме этого лошадиного способа относиться к ужасному, к несбыточному, к неизрекаемому факту смерти, потрясаящему Небо и Землю, наша цивилизация ничего не нашла, не выдумала, не выдавила из своей души» (там же, стр. 329)*.

Но всё же в сознании Розанова, даже на уровне быта и плоти, жизнь сильнее смерти, ей обеспечена конечная победа.

«Всё бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не 'заплатывается' с тех пор, как была. Это лучше 'бессмертия души', которое сухо и отвлеченно.

Я хочу 'на тот свет' прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше» (там же, стр. 89).

Розановское Царство Небесное, как и все основы его миропонимания, капризное, детское, — с игрушками и с носовым платком. Но неужели это удаляет его от столь желанного им «Царства»? Если вспомнить слова Христа (Мф. 19. 14), — скорее наоборот.

Познакомившись с человеком, попытавшись раскрыть через его биографию, через его отношение к природе и жизни основу его воззрений, делается возможной попытка построения цельной картины мира его мыслей. Главное теперь — не терять из виду то, что мы знаем о человеке.



Незадолго до смерти Розанов писал Э. Голлербаху:

«...в сущности вся моя жизнь прошла на тему о христианстве» («Письма к Э. Ф. Голлербаху», стр. 527).

* Хотелось бы поспорить и привести в оправдание нашей «цивилизации» факт сотворения замечательного чина православной панихиды, кстати, очень «розановской» по духу. — Д. Р.

И по сути дела размышления о Боге и мире, о христианстве и о Церкви (на последних двух мы остановимся в следующем разделе) насыщают все поздние произведения Розанова. Его часто считают христианским мыслителем, приравнивая в этом отношении, например, к Бердяеву или к о. С. Булгакову. С моей точки зрения, вряд ли такое определение Розанова во всем и всегда соответствует действительности.

Отношение писателя к христианству менялось неоднократно, проходя все стадии от восторженного его приятия до отчаянного христорборчества. Отдельные высказывания Розанова позволяют его считать сторонником египетского или греческого язычества, иудаизма, пантеизма или ортодоксального православия. Постоянство обнаруживается только в неприятии Розановым католицизма* и протестантизма.

Следовательно, возникает вопрос о том, можно ли систематизировать метафизические и антропологические воззрения Розанова. Положительный ответ позволяет только в том случае, если удастся выявить в массе противоречивых взглядов писателя постоянные мотивы. Мне кажется, что этих мотивов в основном три и что все они обусловлены тем же сугубо конкретным отношением Розанова к миру, а следовательно, и к «сверхмиру».

Первый из этих мотивов — живое ощущение писателем Бога в себе и в природе, непосредственное и часто сугубо конкретное.

Второй — встреча (и часто борьба) с Писанием и с его центральной фигурой — Христом.

* Хотя молодой Розанов, например, в своей книге «Легенда о Великом Инквизиторе», относится порой очень доброжелательно к католицизму и полемизирует в этом отношении с Достоевским. — Д. Р.

Третий — стремление к Царству Небесному, ощущение бессмысленности мироздания без его завершительного итога.

Эти три мотива позволяют считать Розанова писателем «о христианстве», но только их развитие в духе учения Церкви позволило бы нам считать Розанова писателем христианским.

«...Бог есть самое 'теплое' для меня. С Богом мне 'всего теплее'» («Уединенное», стр. 36).

Встреча с Богом происходит в той области нашего я, где тепло, — в сердце, по концепциям древней аскетики.

Она происходит в личном плане, она — диалог личности с личностью.

«Мой Бог — особенный. Это только мой Бог; и еще ничей» (там же, стр. 37).

Молитва, путь общения человека с Богом, не только полезна для человека, но и является для него совершенно необходимой.

«Выньте, так сказать, из самого существа мира молитву, — сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, ...чтобы я этого не мог, люди этого не могли: и я с выпученными глазами и ужасным воем выбежал бы из дому, и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить... Без молитвы — безумие и ужас» (там же, стр. 34).

Связь Бога и человека — взаимная, человек обращается к Богу молитвенно, а Бог отвечает ему ниспосланием своей божественной энергии:

«...какой-то внутренний голос, какое-то непреодолимое внутреннее убеждение мне говорило, что всё, что я говорю — хочет Бог, чтобы я говорил... Я точно весь делался густой, душа делалась густой, мысли совсем приобретали особый строй и «язык сам говорил»... В такие минуты я чувствовал, что гово-

рю какую-то абсолютную правду, и «под точь-в-точь таким углом наклонения», как это и есть в мире, в Боге, в 'истине в самой себе'» (там же, стр. 54-55).

Трудно найти что-либо не христианское в приведенных высказываниях, во всем созвучных, в частности, православному учению о путях общения с Богом и их пользе для человека.

Единственное, чего Розанов не говорит, это, что его Бог — христианский Бог. И по сути дела он этого нигде не говорит, когда речь идет о его *личном* Боге. Всё же в конечном итоге нельзя не признать внутреннего розановского Бога — христианским.

Но у Розанова внутренний Бог, «Бог в сердце» — не единственный: рядом с Ним мы встречаем «Бога в мире», в природе, в страсти.

И тот «теплый», близкий и христианский Бог теряет все свои прежние характеристики, становится оспариваемым, безжалостным, далеким или бессильным. Пути общения с Ним — пути природы, и человек общается с Богом посредством света, пола и т. д. и судит «омирщенного» своего Бога по законам естественным, природным, порочным или вернее искаженным грехопадением.

Но прислушаемся к самому Розанову.

Первая предпосылка существования «омирщенного» Бога — абсолютизация природы.

«Попробуйте распять солнце.

И вы увидите — который Бог»

(«Апокалипсис нашего времени», стр. 508).

«Солнце загорелось раньше христианства. И солнце не потухнет, если христианство и кончится. Вот ограничение христианства, против которого ни «обедни», ни «панихиды» не могут» (там же, стр. 457).

Сопоставим с этим последним высказыванием то, что говорил Розанов о своем молитвенном обращении к Богу.

Бог христианский непосредственно ограничен не только природой, Он ограничен тоже внешним природным человеком.

«В грусти человек — естественный христианин. В счастье человек — естественный язычник» («Опавшие листья», стр. 235).

«Язычество есть младенчество человечества, а детство в жизни каждого из нас — это есть его естественное язычество.

Так что мы все проходим «через древних богов» и знаем их по инстинкту» (там же, стр. 191).

«Боль мира победила радость мира — вот христианство» (там же, стр. 170).

Человек — ребенок, человек — счастливый не нуждается в христианском Боге, Который всё простое, природное осложнил, послав в мир Своего Сына, Христа — Спасителя от мира.

«Солнце.

Счастье.

О, не надо христианства. Не надо, не надо... Ужасы, ужасы.

Господи Иисусе. Зачем Ты пришел смутить землю? Смутить и отчаять?» («Апокалипсис нашего времени», стр. 512).

Христос подменил гармоничные законы природы Своими собственными законами.

«...Христос на самом деле невыносимо отяготил человеческую жизнь... «справедливость» и «наказание» есть то «обыкновенное» и то «нормальное» земного бытия человеческого, без чего это бытие потеряло бы уравновешенность. Это есть то ясное, простое и вечное, что именно характеризует «полноту» отца и его вечную основательность, — кончающую короткое коротким, — на место чего стали слезы, истерика и сентиментальность» (там же, стр. 491).

В этом месте Розанов противопоставляет строгого и ясного Бога-Отца нежному и сентиментальному Богу-Сыну. Бог-Отец, Бог ветхозаветный у Розанова отождествляется обычно с Богом языческим, природным.

(Мимоходом хотелось бы заметить, что отсутствие отца в раннем детстве Розанова, воспитание его истеричной, нелюбящей матерью в обстановке полного неблагоустройства и беспорядка, наверное, во многом обуславливают стремление писателя к сильному и волевому Отцу-Богу, царствующему в великолепном, организованном мире.)

Но Розанов не ограничивается противопоставлением ветхозаветного Бога — судьи и организатора, новозаветному Христу — сентиментальному и путаному. Для него основное даже не в этом: наиболее сильно и часто он противопоставляет ветхозаветного Бога — *рождающего*, Христу — *бесплодному*.

«Христианство так же выразило собою и открыло миру внутреннее содержание бессеменности, как юдаизм и Ветхий Завет раскрыли семенность» («Опавшие листья», стр. 201).

Христос пренебрег «телом как святыней», «обесплотил» человека.

«В христианском мире уже только возможна нравственная любовь, нравственная привязанность. *Тело как святыня (Ветхий Завет)* действительно умерло, и телесная любовь невозможна» (там же, стр. 365)*.

Начало христианства — начало не только бесплотия, но и бесплодия:

«Где обожжет огонь Христов...

Но — по-настоящему обожжет...

* Здесь напрашивается возражение Розанову, что Христос воскресил и Свое тело; что Он сотворил Свое первое чудо на брачном пире! — Д. Р.

Там уже никогда ничего не вырастет» («Апокалипсис нашего времени», стр. 475).

Христианство существует только благодаря поддержке того мира, который оно не принимает.

«...Хорош монастырек, 'в нем полное христианство'; а все-таки питается он около соседней деревеньки.

...само в себе и одно — христианство проваливается, 'не есть', гнило, голодает, жаждет» (там же, стр. 457).

На это замечание Розанова, написанное, кстати, в Сергиевском Посаде, возразить значительно труднее, чем на предыдущие, и надо признаться, что до сих пор христианство еще не выработало окончательного и убедительного возражения на упреки писателя.

Всё же в какой-то мере сам Розанов отвечает на свой же вопрос: основное в отношениях Бога и мира — любовь, и всё остальное обусловлено силой этой любви.

Как обычно, у писателя образ взаимоотношений Бога и мира очень «плотский»:

«Бог охоч к миру. А мир охоч к Богу.

Вот религия и молитвы. Мир 'причесывается' перед Богом, а Бог говорит («Бытие», I): 'как это — хорошо'. И каждая вещь, и каждый день.

Немножко и мир 'ворожит' Бога: и отдал Сына своего Единородного за мир:

Вот тайна» («Опавшие листья», стр. 424-425).

И Розанов, любя мир, как бы включается в любовные взаимоотношения его с Божеством.

«...И люблю я этот сосок мира, смуглый и благовонный, с чуть-чуть волосами вокруг. И держат мои ладони упругие груди, и далеким знанием знает Главизна мира обо мне и бережет меня.

И дает мне молоко и в нем мудрость и огонь.

Потому-то я люблю Бога» (там же, стр. 425).

У Розанова есть несколько интересных (хотя и спорных) высказываний чисто богословского порядка, в частности, об отношениях Бога-Отца и Бога-Сына и об отношениях Божества и мира.

«Что же значит, что *Сын родился*? Только если Отец в чем-то *недотворил*?» («Апокалипсис нашего времени», стр. 471). «...Без онтологической недостаточности отца не может быть сына, хотя бы отец был 'вечно рождающим'... Сказать *иное* от отца и именно *отличное* от отца — вот для чего мог бы 'прийти' сын» (там же, стр. 490).

Как Бог что-то «недотворил» в отношении Сына, так недотворил Он и в отношении мира.

«Как объясняется роковое, черное, всемирное: 'нужно несчастье'.

Оно объясняется из какого-то врожденно-сущего — в 'закваске мира' — неблагородства» («Опавшие листья», стр. 378).

«Есть в мире какое-то недоразумение, которое, может быть, неясно и самому Богу. В сотворении его 'что-то такое произошло', что было неожиданно и для Бога. И отсюда собственно иррационализм, мистика (дурная часть мистики) и неясность» («Апокалипсис нашего времени», стр. 459).

«И перед этим 'иначе' покорен и Бог. Как тоскующий отец, который смотрит на малютку с 'иначе', и хочет поправить и не может поправить. И любит 'уже всё вместе'...» (там же, стр. 460).

И в мирском, и в чисто метафизическом отношении характеристика Божества включает в себя момент бессилия. Бог ограничен не только миром, но и «сам в себе».

Лучшее этому доказательство для Розанова, как и для Достоевского, столь на него повлиявшего, — наличие земного зла:

«Ты всё мог, Господи Иисусе. Ты, 'потрясший небо и землю'.

И не избавивший даже детей ни от муки небесной, ни от муки земной» (там же, стр. 476).

«Бессилие.

Конец мира и человечества будет таков, потому что Евангелие есть книга изнеможений» (там же, стр. 456).

В конечном счете Розанов, несмотря на всю свою любовь к Богу, несмотря даже на свое острое нравственное и духовное чутье, не может не присоединиться к тем иудеям, которые, издеваясь над Христом, призывали Его спуститься с креста и тем самым доказать Свою божественность. В миропонимании писателя отсутствуют два основных учения христианства: учение о грехопадении человечества и учение об отношении человека к Богу как твари к Творцу (а не как рожденного к родившему). Розанов не освободился сам от природной стихии, вернее он сам себя как можно прочнее связал с природой, и его восприятие Божества овеяно всей правдой природной, но также и всей ее ложью, неполноценностью как абсолюта. Для христианина наличие зла в мире доказывает не бессилие Бога, а бессилие природы без Бога, и преодоление его возможно лишь путем «одобрения», обожествления мира.

Прислушаемся теперь внимательнее к высказываниям писателя о «книге изнеможений», о Новом Завете, о котором он так много думал и так страстно писал.

Враждебное отношение Розанова к Евангелию вызвано рядом соображений. Первое из них то, что подобно тому, как «Христом вывалена вся начинка из пирога и то называется 'христианством'» (там же, стр. 477), «...из текста Евангелия совершенно естественно вытекает монастырь» («Письма к Э. Ф. Голлербаху», стр. 529).

Дело тут не в одном бесплодии, о котором я уже упоминал выше.

«...Евангелие есть религиозно-холодная книга, чтобы не сказать религиозно-равнодушная. Где не поют, не радуются, не восторгаются, не смотрят на Небо; ...Это — логика, а не молит-

ва; с упоминаниями о том-то и том-то, но без умиления, без иоты восторга» («Апокалипсис нашего времени», стр. 495).

В Евангелии недостает того чувственного, без чего Розанов не может жить.

«...Загадочно, что в Евангелии ни разу не названо ни одного запаха, ничего — пахучего, ароматного» (там же, стр. 470).

Чувственное неотделимо от жизни, без этого начала она лишена полноценности, правды, интереса.

«Отроду я никогда не любил читать Евангелия. Не влекло. ...Напротив, Ветхим Заветом я не мог насытиться: всё там мне казалось *правдой* и каким-то необыкновенно *теплым*, точно внутри слов и строк *струится кровь*, при том родная!» («Опавшие листья», стр. 148).

Хотя Розанов иногда и признает бессрочный характер Евангелия (например, там же, стр. 407), как правило его поражает ограниченность, «конечность» Евангелия.

«Библия — нескончаемость. Евангелие — тупик» («Апокалипсис нашего времени», стр. 467).

«...что заключается внутри чего, солнечная система заключается внутри Евангелия, или Евангелие заключается внутри солнечной системы?» (там же, стр. 472).

Не принимая Евангелия, которое сводится «к точке, молчанию и небытию скопчества» (там же, стр. 468), Розанов не только услышал евангельский благовест, но жаждет всеми силами того, что Христос обещает своим последователям, — Царства Небесного.

Правда, у писателя Царство это особое, созвучное его стремлениям в «царстве земном».

В загробной жизни допустим лишь один рай:

«И никакого 'ада и скрежета зубовного' там, а собирание нектара с цветов» (там же, стр. 470).

Рай для Розанова в первую очередь (подобно раю магометанскому) — чувственный:

«Загробная жизнь вся будет состоять из света и пахучести. Но именно — того, что ощутимо, что физически — пахуче, что плотски, а не бесплотно — издает запах» (там же, стр. 469).

Загробная жизнь — именно *жизнь*, со всем тем, что отличает жизнь от небытия. Она вся в развитии, движении, пропитана растительным и животным началом, и именно поэтому она бесконечна и неодолима.

«...мир будущего века», по преимуществу, определяется как 'со-вокупление': и тогда проливается свет на его неодолимость, на его — ненасытимость...» (там же, стр. 503).

Между Небом и Землей нет абсолютного разграничения, между ними связь постоянная: Небо ведет непрестанную беседу с Землей, как некогда Бог Израиля со своим народом.

«Помни: Небо как и земля. И открытое Небу — открывается «в шёпотах» и земле. В шёпотах, сновидениях и предчувствиях» (там же, стр. 513).

И так же, как в древности связным звеном между Богом и Израилем были пророки, Розанов мыслит себя неким звеном между Божеством и земным, плотским миром, и выше всего ценит в себе, как и в других, чуткость к предчувствиям и внимательность к шёпотам...

Человек соединяет в себе Небо и Землю, но чтобы быть полноценным мостом между земным и божественным, он должен быть наделен некоторыми необходимыми качествами и тем самым быть как бы правильно «настроенным» (в смысле настройки музыкального инструмента).

Человеку нужно избегать общего, вечного, незыблемого. Он не должен разбрасываться в мире, а собирать мир в себе, в своем уединении.

«Из уединения — всё. Из уединения — силы, из уединения — чистота.

Уединение — 'собран дух', это — я опять 'целен'» («Опавшие листья», стр. 171).

«Смысл — не в Вечном; смысл в Мгновениях.

Мгновения-то и вечны, а Вечное — только 'обстановка' для них. Квартира для жильца» (там же, стр. 424).

«Сто лет лжи и минута правды и ею спасайся» («Мимолетное», стр. 430).

Как видим, человек должен «собрать дух», подобно практике монахов исихастов, сосредоточиться на том в себе, что позволяет встречу времени («мгновение») и пространства («уединенное») в чистом, непорочном виде.

Идеал Розанова — человек, сосредоточенный на себе, а не на внешнем мире, ищущий в себе сокровенное и божественное.

Очень часто критики не понимали правильно этого аспекта мысли писателя и упрекали Розанова в эгоизме и в трусливом бегстве от мира. «Влияние Розанова противоположно всякому закалу души»¹⁰, писал Бердяев, и ошибался, ибо то, что для Розанова самое ценное — «мир умный», мир «сердца», его «уединенное», — совсем не так просто оградить от влияния, насмешек или открытой враждебности «мира внешнего». И те качества, которые вытекают из подлинного уединения в себе, — любовь, нежность, «понимание» — очень трудно воплотить во внешнем, в мире.

«Отстаивай любовь свою ногтями, отстаивай любовь свою зубами. Отстаивай ее против ума, отстаивай ее против власти» («Опавшие листья», стр. 127).

Любовь — основное качество человека, и самый тяжелый грех — преступление против любви.

«Не обижайте любовь... Не тесните, не гоните ее, не подсматривайте за нею» («Мимолетное», стр. 431).

Любовь — средство победы над злом:

«...Лишь там, где субъект и объект — одно, исчезает неправда» («Опавшие листья», стр. 127).

Всё самое ценное — нежность, доброта, кротость — вытекает из любви.

«Нежная-то идея и переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Поломаются машины. А что человеку 'плачется' при одной угрозе 'вечною разлукою' — это никогда не порвется, не истощится» (там же, стр. 145).

«Прекрасный человек, — и именно в смысле вот этом: 'добрый', 'благодатный', — есть лучшее на земле. И, поистине, мир создан, чтобы увидеть его» (там же, стр. 131).

Хотелось бы привести полностью, да простит мне читатель длинную цитату, следующий замечательный отрывок из «Апокалипсиса нашего времени»:

К Р О Т К А Я

Ты не прошла мимо мира, девушка... о, кротчайшая из кротких... Ты испуганным и искристым глазком смотрела на него.

Задумчиво смотрела... Любяще смотрела... И запевала песню... И заплетала в косу ленту...

И сердце стучало. И ты томилась и ждала.

И шли в мире богатые и знатные. И говорили речи. Учили и учились. И всё было так красиво. И ты смотрела на эту красоту. Ты не была завистлива. И тебе хотелось подойти и пристать к чему-нибудь.

Твое сердце ко всему приставало. И ты хотела бы петь в хоре.

Но никто тебя не заметил и песен твоих не взяли. И вот ты стоишь у колонны.

Не пойду и я с миром. Не хочу. Я лучше останусь с тобой. Вот я возьму твои руки, и буду стоять.

И когда мир кончится, я всё буду стоять с тобою и никогда не уйду.

Знаешь ли ты, девушка, что это — 'мир проходит', а — не 'мы проходим'. И мир пройдет и прошел уже. А мы с тобой будем вечно стоять.

Потому что справедливость с нами. А мир воистину несправедлив (стр. 459).

По сути дела все те качества, которые столь ценит Розанов, — краеугольные качества христианина, основа учения «книги изнеможений» — Евангелия. И писатель это отлично понимает:

«Лучшие люди, каких я встречал, ... — все были религиозные люди; глубочайшие умом, ... религиозны же» («Уединенное», стр. 73).

Но Христос, по мнению Розанова, проповедуя истину, недостаточно считался с тем, что человек не только дух, не только носитель Царства, но и плоть, носитель мира, и что ему нужно наслаждение, нужен уют, без которого он и на духовное неспособен, лишен возможности свободного выбора «горнего пути».

«... 'душа свободна' — 'только если 'в комнате тепло натоплено'. Без этого она не свободна, а боится, напугана и груба» («Апокалипсис нашего времени», стр. 464).

Христианство избавило мир и человека от начала хаоса, осмыслило его жизнь, устранило языческое (природное) вечное повторение, вечное преодоление хаоса и возвращение к нему. И эту часть учения Христа Розанов принять не может.

«И определять не нужно.

Пусть мир будет неопределен.

Пусть он будет свободен» («Мимолетное», стр. 435).

«Вот начало хаоса...

Он так же необходим, как разум и совесть» (там же, стр. 436).

«Не нужно 'примирения'».

.

Пусть всё кипит в противоречиях. Безумно люблю кипенье» (там же, стр. 429).

Для Розанова «всё человеческое» имеет ценность, а всё внешнее (пусть даже божественное), отнимающее от природного человека или прибавляющее к нему, — неприемлемо.

Лучше всего покажут всё то, что отдаляет писателя от христианства, и всё то, что его к нему приближает, заключительные слова «Апокалипсиса нашего времени»:

«И помни: жизнь есть дом. А дом должен быть тепел, удобен и кругл.

Работай над 'круглым домом' и Бог тебя не оставит на небесах.

Он не забудет птички, которая вьет

гнездо» (там же, стр. 514).



Нам предстоит теперь рассмотреть взгляды Розанова на человека в обществе, на историю и политические проблемы.

На общественные темы Розанов писал много и страстно, и видимая противоречивость его высказываний в этой области очень велика. И всё же мне кажется, что эта противоречивость, главным образом, ощущается во внешнем, не касаясь глубинных основ мировоззрения писателя, и что возможно, хотя и не всегда легко, выявить цельную картину его мыслей.

Для Розанова постижение истории возможно лишь при слиянии объекта и субъекта, путем творческого включения человека в исторический процесс.

«...Мне иногда кажется, что я понял всю историю так, как бы 'держу ее в руке', как бы историю я сам сотворил, — с таким же

чувством уроднения и полного постижения» («Опавшие листья», стр. 258).

С самого начала история есть нечто человеческое, и чтобы иметь положительное значение, исторический процесс должен зиждиться на подлинно человеческих ценностях, а не на наносном и извращенном.

«Вздых — всемирная история, начало ее. А 'корректный человек' и есть корректный человек, которым всё кончится, и сам он есть уже Смерть и Гроб» («Опавшие листья», стр. 418).

Если меркой истории будет «корректный человек», то усугубится в мире процесс «уклонения от прямой».

«...уклончивость всех вещей от определения своего, уклончивость всех планет от 'прямой'...

Что это?!!!

Ужасы, ужасы...» (там же, стр. 359).

Розанову кажется, что современная ему Европа, родина «корректного человека», — залог «уклончивости от прямой» истории, что ценности, выработанные европейским буржуа (в частности, демократия), — смертоносны для человека.

«...Не 'буржуа' гадок: но поистине гадок буржуа XIX века, самодовольный в 'прогессе' своем, вонючий завистник всех исторических величий и от этого единственно стремящийся к *уравнительному состоянию* всех людей, — в одной одинаковой грязи и одном безнадежном болоте» (там же, стр. 205).

Особенно раздражает Розанова тот факт, что буржуа «не хочет слушать», не способен на диалог с человеком, живущим другими ценностями:

«...Вольно же было Гутенбергу изобретать свою машинку. С тех пор и началось 'стеснение свободы мысли', которая на самом деле состоит в 'не хотим слушать'» (там же, стр. 139-140).

Европейская культура, лишая людей потребности к самоуглублению, притупляет их чуткость ко злу и лишает их возможности с ним бороться.

«Механизм гибели европейской цивилизации будет заключаться в параличе против всякого зла, всякого негодяйства, всякого злодеяния: и в конце времен злодеи разорвут мир» (там же, стр. 176).

Европейский мир, построенный опустошенными, лишенными «начинки» людьми, построенный ими вири, а не вглубь, лишен прочного фундамента.

«...Европейская цивилизация слишком раздвинулась по периферии, исполнилась пустотами внутри, стала воистину 'опустошенною' и от этого погибает. Кому она нужна? Кого греет? ... Слишком обширно. А где обширно, там и холодно» («Апокалипсис нашего времени», стр. 510).

«...в европейском (всём, — и в том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от бывшего христианства; и в эти пустоты проваливается всё: троны, классы, сословия, труд, богатства» (там же, стр. 444).

Лишенный религиозных основ «европеец» исполнен гордыни, самонадеянности и веры в свои собственные силы. А его самонадеянность — уже залог его вечной неудачи.

«...Вся Европа горда и из гордости у нее всё. Не надо! Не надо! Небо, небо! Неба дай нам. А небо...

Оно там, где рабство. Где рабы счастливее господ» (там же, стр. 489).

Не принимая «европейской культуры», Розанов лишен и славянофильской тенденции идеализировать всё русское.

«Мало солнышка — вот всё объяснение русской истории.

Да долгие ноченьки. Вот объяснение русской психологичности...» («Опавшие листья», стр. 397).

«У русских нет сознания своих предков и нет сознания своего потомства» (там же, стр. 370).

Россия заражена Европой (см. выше стр. 209), и перенесенная на чужую почву европейская культура еще более пуста и в еще большей опасности в России, чем на своей родине. Европейское начало в России — всё «казённое».

«Всё 'казенное' только формально существует. Не беда, что Россия в 'фасадах': а что фасады-то эти — пустые» («Опавшие листья», стр. 186).

«Пустота» России явно обнаружилась, когда настал момент борьбы с Европой-Германией.

«...было очевидно с самого начала войны, 'кто победит', *трудомлюбая* Германия или пустая и болтливая Россия...» («Письма к Э. Ф. Голлербаху», стр. 533).

Сокрушенная войной и революцией Россия понесла последствия своей пустоты, своей неподлинности, позволившей враждебным ей силам сразить ее гораздо легче, чем эти силы сами того ожидали.

«Россия похожа на ложного генерала, над которым какой-то ложный поп поет панихиду. 'На самом же деле это был беглый актер из провинциального театра'» («Апокалипсис нашего времени», стр. 450).

Вся трагедия России в том, что она переняла от Европы ее устои в призрачном, театральном виде, а силы, стремившиеся разрушить эти устои, — в подлинном боеспособном виде. Разрушительным же силам она не смогла противопоставить свою положительную идею, органические и твердые общественные условия.

«...Просто, как православным человеком русский никогда не жилал'. Переход в социализм и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно 'в баню сходили и окатились новой водой'» (там же, стр. 448).

Интересна формулировка (в 1918 году!):

ВСТРЕЧА С РОЗАНОВЫМ

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историю железный занавес.

— Представление окончилось.

Публика встала.

— Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось» (там же, стр. 494).

Даже в самой гуще исторических событий, на втором году революции и накануне своей смерти, Розанов не оставляет своей особой — розановской — мерки и пророчит, что

«...именно в России суждено придти Антихристу... 'опять восстановить фалл, обрубленный Алкивиадом'» («Письма к Э. Ф. Голлербаху», стр. 530).

Розанов — антисемит. Это одно из самых ходячих о нем мнений.

В действительности отношение писателя к евреям было в первую очередь отношением любовным, и ненависть к ним, которую Розанов порой так резко высказывал, была любящей ненавистью.

Евреи для Розанова — носители того фаллического начала, которое столь важно для него, на их договоре с Богом лежит печать обрезания; основа их общества и культуры — семья, и именно семья розановская — с традиционной, патриархальной, но вместе с тем полной нежности и доверия жизнью. Еврейский народ — народ того Ветхого Завета, который имел огромное значение для писателя.

В сжатой форме можно охарактеризовать эволюцию отношения позднего Розанова к евреям двумя следующими цитатами. Первая — 1913 года, вторая — 1918.

«'Услуги' еврейские как гвозди в руки мои, ласковость еврейская как пламя обжигает меня» («Опавшие листья», стр. 189).

«...стояло безумное оклеветание в душе моей, а на самом деле евреи уважительно, любяще и трогательно относятся к рус-

ским... И на это есть причина: среди 'свинства' русских есть правда одно дорогое качество — интимность, задушевность. Евреи — то же. И вот этою чертою они ужасно связываются с русскими. Только русский есть пьяный задушевный человек, а еврей есть трезвый задушевный человек» («Апокалипсис нашего времени», стр. 484).

Отношение Розанова к Церкви очень схоже с его отношением к евреям, проникнуто такой же любящей ненавистью. Даже в тот период, когда он чрезвычайно резко высказывался против христианства как учения, Розанов любил церковную среду и не порывал с ней.

Как пишет Бердяев:

«...Розанов был врагом не Церкви, а самого Христа, Который заворожил мир красотой смерти. ...В Церкви было много плоти, много плотской теплоты. ...Без духовных лиц, которые почти ничего не понимали в его проблематике, ему было скучно»¹¹.

Порой писатель очень резко высказывался о Церкви:

«Полу-искренность — она сопутствует теперь всем делам церковным» («Опавшие листья», стр. 355).

Но в середине десятых годов Розанов окончательно примирился с Церковью и более с ней не порывал.

«И я бросился (1911 г., конец) к Церкви: одно в мире *теплое, последнее теплое* на земле...» («Уединенное», стр. 73).

«Всю жизнь посвятить *на разрушение* того, что одно в мире люблю: была ли у кого печальнее судьба» (там же, стр. 60).

Лучше всего можно охарактеризовать отношение Розанова к Церкви следующими его высказываниями:

«Да, может быть, и неверен 'план здания': но уже оно бережет нас от дождя, от грязи: и как *начать рубить* его?» (там же, стр. 66).

«...Я всегда был *зрителем* в ней (в церкви — Д. Р.), *стоятелем* — ХОТЯЩИМ помолиться, но не и УЖЕ молящимся; оценщиком;

во мне было много *любования* (в зрелые годы) на церковь...» («Опавшие листья», стр. 129-130).

Политические воззрения Розанова определить не просто, ибо у него нигде не найдешь обстоятельного и ясного политического кредо. Приходится цепляться за отдельные высказывания. В общей же сложности обнаруживается, что взгляды писателя не лишены последовательности.

Пожалуй, не стоит верить Розанову, когда он кокетничает:

«...я писал однодневно 'черные' статьи с эс-эрными. И в обеих был убежден. Разве нет 1/100 истины в революции? и 1/100 истины в черносотенстве?» (там же, стр. 294).

Гораздо больше значения нужно предавать следующему:

«...я так бесконечно люблю человеческую *связанность*, людей в *связанности*, во взаимном *миловании*, *ласкании*... ничего я так не ненавижу, ничему так не враждебен, как всему, что *разделяет* людей, что мешает им *слиться*, соединиться стать 'в одно'...» («Уединенное», стр. 48).

В политике, как и в остальном, Розанов — последовательный защитник всего того, что развивает интимность людей, что не мешает им любить друг друга, что не является препятствием на пути к Царству Небесному, по сравнению с проблематикой которого вся политика — грязненькая «суета сует».

«Нужно разрушить политику... Нужно создать аполитичность. 'Бог больше не хочет политики, залившей землю кровью'... обманом, жестокостью» («Опавшие листья», стр. 230).

«Высший предел демократии, в сущности, в 'Книге Иова'. Дальше этого она не может пойти, не пошла, не пойдет.

Но есть 'Книга Товии сына Товитова'. Есть Евангелие. Есть вообще, кроме черных туч, небо. И небо больше всякой тучи, которая 'на нем'...» (там же, стр. 239).

Последовательность в убеждениях часто побуждает Розанова позволять себе высказывания, «шокирующие» интеллигентного обывателя.

В политическом отношении:

«Всё лучше свободы, ... хуже 'свободы' вообще ничего нет, и она нужна хулигану, лоботрясу и сутенеру» (там же, стр. 386).

Розанов не отрицает своего «барства» и не смущается им.

«Я барин. И хочу, чтобы меня уважали как барина» (там же, стр. 138).

Ненависть, даже ненависть обездоленных не находит оправдания для Розанова.

«Пришел вонючий 'разночинец'. Пришел со своей ненавистью, пришел со своею завистью, пришел со своею грязью» (там же, стр. 156).

Социализму, хотящему достичь равенство путем насилия и ненависти, Розанов противопоставляет «кагал», еврейскую общину.

«...Кагал есть великолепная 'city', 'la cité', 'коммуна', где люди живут рядышком, в теплоте и тесноте, помогая друг другу...
...Социализм есть продукт исчезновения Домо-строга и кагала» («Апокалипсис нашего времени», стр. 509).

«Как раковая опухоль растет и всё прорывает собою, всё разрушает, — и сосет силы организма, и нет силы ее остановить: так социализм» («Опавшие листья», стр. 353).

В современной ему России Розанов нигде не находит ничего созвучного его идеям, ни в социалистической оппозиции, ни в чиновнической бюрократии, находившейся у власти. И единственным выходом ему представляется любовь к царю, любовь личная и непосредственная, всё и всех соединяющая.

ВСТРЕЧА С РОЗАНОВЫМ

«Я понял, что в России 'быть в оппозиции' значит любить и уважать Государя, что быть 'бунтовщиком' в России — значит пойти и отстоять обедню...» (там же, стр. 327).

Любовь к царю должна быть освобождена от казенного трафарета, должна быть «простая и ясная», ибо:

«Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости» («Уединенное», стр. 80).

«...любить Царя' (просто и ясно) есть действительно существо дела в монархии и 'первый долг гражданина': не по лести и коленопреклонению, а потому, что иначе портится всё дело, 'кушанье не сварено', 'вишню побил мороз', 'ниву выколотил град'» («Опавшие листья», стр. 113).

Любовь к царю Розановым не отождествляется с любовью к старому строю, который им отбрасывается так же, как и революция.

«Революция и 'старый строй' — это просто 'дряхлость' и 'еще крепкие силы'. Но это — не идея, *ни в каком случае — не идея!*» («Уединенное», стр. 33).

Главное, что отталкивает писателя от революции, — ее бесплодность.

«Революция имеет два измерения — длину и ширину; но не имеет третьего — глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь *спелого, вкусного плода*; никогда не 'завершится'...» («Опавшие листья», стр. 106).

Революция для Розанова «avit-альна». Она также лишена всякого положительного значения, ибо является взрывом ненависти, а не нужды.

«Революции происходят не тогда, когда народу тяжело. Тогда он молится. А когда он переходит 'в облегчение'... В 'облегчении' он преобразуется из человека в свинью, и тогда 'бьет посуду', 'гадит хлев', 'зажигает дом'. Это революция» (там же, стр. 378).

Не принимая современных ему политических идеологий, Розанов чувствует, что путь спасения России нужно искать в иной, новой области, и считает себя одним из открывателей этой новой области. Новый путь — искания «философов-религионистов».

Хотя Розанов далеко не всё принимает, что исходит из горнила религиозной философии, — он пишет, например, что из авторов «Вех» его не разочаровали только Гершензон и Булгаков («Уединенное», стр. 49), — он глубоко верит в возможность обновления и углубления общественной мысли в России.

«Я начал, но движение это пойдет: и мы, философы, религионисты, — люди уж, во всяком случае, 'высшего этажа', чем в каком топчутся политики, — разрушим мыслью своею, поэзией своей, своим 'другим огнем', своим жаром, — весь этот кроваво-гнилой этаж...» («Опавшие листья», стр. 231).

Главная заслуга Розанова в истории мысли — в его стремлении к «верхнему этажу», в его постоянной борьбе со средой, с ее предрассудками. Он всеми средствами своего «протеического» искусства хочет убедить читателя, что должен быть признан достойным «горного мира» весь человек, как со своими прекрасными порывами, так и со своим «тепленьким», со своим «носовым платком».

Прекрасен образ: опавшие листья облагораживают почву, и «могучие деревья вырастают из старых почв» (там же, стр. 160), из наслоений теплой, тлеющей жизни.

О творчестве Розанова хотелось бы вынести заключительное суждение его же словами:

«Живем и горим.

Живем и путаемся.

'С утра подметають'.

А к вечеру, смотришь, — везде сор.

Этот сор — наша жизнь.

Разве она плоха?» («Апокалипсис нашего времени», стр.

436).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Г. П. Федотов. Лицо России. Сборник статей (1918-1931). Стр. 304. YMCA-PRESS. Париж, 1967.

² Там же, стр. 300.

³ Василий Розанов. Избранное: Уединенное. Опавшие листья. Мимолетное. Апокалипсис нашего времени. Письма к Э. Ф. Голлербаху. Изд-во А. Нейманис. Мюнхен, 1970.

⁴ Прот. В. Зеньковский. История русской философии. Том I, стр. 458. YMCA-PRESS. Париж, 1948.

⁵ Василий Розанов. Избранное. Опавшие листья. Стр. 349.

⁶ Г. П. Федотов. Лицо России, стр. 302.

⁷ Прот. В. Зеньковский. История русской философии, том I, стр. 467.

⁸ Там же, стр. 463.

⁹ Николай Бердяев. Самопознание (опыт философской автобиографии). Стр. 160. YMCA-PRESS. Париж, 1949.

¹⁰ Там же, стр. 159.

¹¹ Там же.

Библиография

ДВЕ ЦЕННЫЕ КНИГИ О ПСИХОТЮРЬМАХ

Перед нами две недавно вышедшие книги, посвященные одной и той же теме: заключению в СССР инакомыслящих в психиатрические больницы особого типа.

Одна из них, составленная на Западе, озаглавлена «Казнимые сумасшествием». Другая, написанная братьями-близнецами Жоресом и Роем Медведевыми в Советском Союзе, была напечатана в Западной Европе под названием «Кто сумасшедший?»

Говорить совместно об обеих книгах интересно уже потому, что составлены они в таких различных условиях. К тому же и конструкция их весьма отлична. Первая, беря проблему в целом, останавливается на целом ряде случаев, иллюстрирующих преступную практику заключения инакомыслящих — совершенно здоровых людей — в психиатрические больницы. Вторая исходит из одного определенного (к тому же нетипичного) случая — заключения в сумасшедший дом крупного ученого Жореса Медведева — и на этом основании делает ряд интересных выводов и обобщений.

Таким образом, обе эти книги как бы дополняют друг друга.

Остановимся в первую очередь на книге братьев Медведевых.

Думается, что нелегко было им взяться за этот труд. Ведь видно из их собственных слов, что семья их кровно связана с советским строем еще с ленинских времен и что привязанность к традициям «великого октября» они впитали в себя с молоком матери. В книге встречаются такие фразы: «Вместе со мной согласились поехать в Калугу друзья нашего отца (выделено на-

Казнимые сумасшествием. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1971.

Ж. А. Медведев и Р. А. Медведев. Кто сумасшедший? Macmillan. London. LTD. 1971.

ми), старые большевики Иван Павлович Гаврилов и Риса Борисовна Лерт» (стр. 30). Или: «Днем 2 июня группа старых членов партии, *хорошо знающих нашу семью* (выделено нами), посетила Министерство здравоохранения РСФСР» (стр. 46).

Нельзя не отметить, что при наличии такой традиционной привязанности к взрастившему их строю, к взрастившей их среде братья Медведевы проявили мужество и честность в изобличении установленных в СССР порядков. Нельзя не понять их известную наивность, известную доверчивость по отношению к власти имущим всех градаций: ведь свои не подведут, не должны подвести. Несмотря на то, что Жорес Медведев первоначально был заманен в ловушку врачом-психиатром, связанным с КГБ (выбрался оттуда с большим трудом), а затем силком увезен в психиатрическую больницу, он всё еще в какой-то мере верит больничной администрации. Вот маленькая живописная к тому иллюстрация, данная Роем Медведевым: оба брата сидят вместе на скамейке в часы, когда в больницу допускаются посетители. Подбегает санитарка: «— Жорес Александрович, в отделении вас ждет Лифшиц и ваша жена. Им нужно поговорить с вами о вашей выписке'. — Ты не верь им, — говорю я брату, но он поднимается и идет в отделение, где его немедленно оставляют в палате» (стр. 65).

Ну, допустим, что санитарке и врачу-психиатру можно было еще раз поверить, несмотря на их постоянные обманы. Но обидно за братьев Медведевых, что их наивность побудила их поверить заверениям не какой-то санитарки, а таких личностей и инстанций, обещаниям которых верить уж никак нельзя. А стовариваться с которыми, когда речь идет о почтенных ученых, не очень-то прилично.

Об этом стоворе авторы пишут уже в своем предисловии: «Сейчас, через три месяца после главных событий, стало очевидным, что противоположная сторона не захотела выполнить свои обещания. Это создает для меня свободу выбора» (стр. 7).

Дабы не было сомнений, о чем идет речь (о тайной сделке с КГБ, в которой авторы были обмануты), Рой Медведев дает дополнительные пояснения на последних страницах книги: «Однако они не отказались от своей главной задачи — объявить

Жореса ненормальным, держать его затем под постоянной угрозой психиатрической госпитализации и, таким образом, вынудить его к молчанию, к прекращению общественной и публицистической деятельности. В этих условиях молчать о происшедшем означало бы для нас содействовать успеху всей этой преступной акции» (стр. 161).

«Они» — это КГБ. Эти «они» заинтересовались братьями Медведевыми, конечно, уже давно. Об этом Жорес Александрович в книге сам рассказывает: «...имелась в виду беседа с Обнинскими работниками КГБ, которые, пользуясь оформлением поездки за границу в качестве приманки, пытались завербовать меня в тайные агенты. Эта беседа носила «конфиденциальный характер» только до того момента, когда мои собеседники пустили в ход угрозы» (стр. 70). Обычная картина... Будь сказано к его чести, Ж. А. Медведев на полицейский шантаж тогда не поддался. Было бы бесконечно приятно, если бы на этом можно было поставить точку. Но, увы, этого нельзя. Вот что произошло после освобождения Жореса, как об этом пишет его брат: «18 июня моего брата вызвали в центральное управление КГБ... Брата просили не писать о случившемся каких-либо очерков и документов и считать дело закрытым. Брат от своего и моего имени согласился с этим предложением, но на определенных условиях. Условия эти были элементарно простыми — *взаимность действий по ликвидации возникшей проблемы*» (стр. 121).

Эта «взаимность действий» не состоялась потому, что, создавая свою силу, тупоумные кагебисты нарушили договор: освободив Жореса, не закрыли его дела. Следует поблагодарить братьев Медведевых за откровенность, с которой они изложили всё дело. Но из уважения к ним самим приходится сожалеть, что вообще могла зайти речь о «взаимности действий». Когда она была нарушена, братья-авторы взялись за перо. Не просто, чтобы сказать всю правду, а в качестве самообороны. Если бы «взаимность действий» осталась в силе, они бы молчали, создали бы вокруг себя иллюзорную атмосферу благополучия и мы, быть может, никогда не узнали бы правды, о которой им пришлось свидетельствовать. Ставка на «взаимность действий» отличает братьев Медведевых (людей солидных и пользующих-

ся поддержкой в московской привилегированной среде) от таких никем не защищаемых героев, как Владимир Буковский. Всё это поневоле придает всему их делу несколько неприятный привкус. А так хотелось бы, чтобы этого не было, ибо их дело правое!

Теперь о самой книге.

В ней ясно и точно показан исходный момент, когда практике заключения инакомыслящих в психиатрические больницы было решено дать широкий разворот. Это произошло в самом начале шестидесятых годов, еще при Хрущеве. В новом Уголовном кодексе РСФСР, принятом в 1961 году, исчезла статья, устанавливавшая уголовную ответственность врачей-психиатров «за неправильное и необоснованное помещение человека в психиатрическую больницу». Таким образом, новый Кодекс даровал психиатрам «вольности дворянские» — полную безнаказанность. К этому добавился документ, опубликованный 10 октября 1961 года, — «Инструкция министерства здравоохранения СССР по неотложной госпитализации психических больных, представляющих общественную опасность». Об этом наши авторы говорят следующее: «В этом документе... есть два дополнительных пункта, которые могут истолковываться столь широко, что врачи, при желании, могут подвергнуть психиатрической госпитализации *любого* человека, если органы власти этого пожелают» (стр. 107).

Таковы юридические обоснования нового вида террора, подготовлявшегося втихомолку при «либерале» Хрущеве. Теперь от бумаг перейдем к людям.

Братья Медведевы знакомят нас с целой галереей психиатров-кагебистов. Ограничимся рассмотрением ключевых фигур.

Вот стоящий во главе всей медицинской иерархии министр здравоохранения СССР Б. Петровский. Примечательно начало его карьеры: «Еще в самом начале 1953 года, выступая перед молодыми врачами, нынешний министр здравоохранения Б. Петровский призывал своих слушателей отказаться от некоторых устаревших представлений о роли врача в обществе и усвоить идеи 'сталинского гуманизма'» (стр. 148).

Десталинизация, очевидно, на Петровского мало повлияла. Это видно по его словам и делам. Будучи по профессии хирургом и не имея к психиатрии прямого касательства, он самочинно отменяет постановление комиссии психиатров, признавшей Жореса Медведева вполне нормальным человеком. «Можно было только гадать, — пишут авторы, — действовал ли он в данном случае по собственной инициативе или по чьей-нибудь подсказке?» (стр. 88-89). По чьей подсказке, — легко догадаться, ознакомившись с высказываниями министра на особом совещании, состоявшемся в его кабинете, где среди других был и академик Сахаров. «А. Д. Сахаров... сказал о возможных выступлениях иностранных ученых на предстоящих международных научных конгрессах. 'Наши органы знают, как следует реагировать на подобные выступления', — ответил Б. Петровский, хотя было непонятно, как могут какие-либо советские 'органы' помешать зарубежным ученым высказать свое мнение» (стр. 97).

Ступенью ниже стоит профессор А. В. Снежневский — директор Института психиатрии АМН СССР. В его функции входит подбор и расстановка по местам кагебистов в белых халатах. Братья Медведевы говорят о нем лишь бегло, и да будет нам позволено позаимствовать о нем некоторые данные из другого источника.

«Результатом... бесконтрольного хозяйничания Снежневского в советской психиатрии явилось создание «школы» — множества практикующих врачей, в том числе и судебно-психиатрических экспертов, которые, вопреки очевидности и многовековому психиатрическому опыту, ставят диагноз «шизофрения» там, где для этого нет никаких оснований» («Хроника текущих событий», № 22 от 10. 11. 71.).

В функции Снежневского входит, очевидно, также подготовка «досье» касательно самых видных лиц оппозиционного лагеря — так, на всякий случай. Типично его поведение на том заседании в кабинете министра Петровского, о котором мы уже упоминали: «Перечисляя в своем выступлении некоторые психические заболевания, требующие госпитализации, Снежневский сказал и о 'навязчивом бреде реформаторства'. При

БИБЛИОГРАФИЯ

этом он профессиональным взглядом сверлил А. Д. Сахарова» (стр. 96).

Говоря о практике заключения политических противников в психобольницы, братья Медведевы сравнивают эту форму геноцида с газовыми камерами гитлеровской Германии. Сравнение это не ново, но существенно то, что оно сформулировано в данном случае не где-то на Западе, а в Москве...

Итак, люди, принадлежащие к легальной оппозиции типа братьев Медведевых, порвали с катехистским лагерем власти, правда, не совсем по своей воле, а потому, что «взаимность действий» оказалась неосуществимой. Медведевы и им подобные явно стремились отмежеваться и от противоположного «крайне левого» крыла, к которому принадлежат люди типа Буковского и Галанскова. Отмежеваться не удалось полностью потому, что власть путем своей политики террора сблизила законопослушных оппозиционеров типа Медведевых, против их воли, с «крайне левым» оппозиционным крылом. Так, например, от генерала Григоренко братья Медведевы держались явно в стороне. Сблизились с ним лишь в 1969 году, перед самым его арестом. Да и то с оговорками: «Многие из высказываний и действий П. Г. Григоренко казались мне ошибочными, и я говорил об этом Петру Григорьевичу. ...С определенными оговорками взгляды П. Г. Григоренко можно было бы определить как чрезмерно радикальные, однако речь могла идти в данном случае именно о *системе взглядов*, а не о психическом заболевании» (стр. 157—158). С другим человеком с «чрезмерно радикальными» взглядами — с Петром Якиром — Медведевы сблизились, лишь когда один из них оказался в психобольнице и терять-то по существу уже было нечего. «Среди других, — пишет Рой Медведев, — мне позвонил и П. И. Якир, который также активно включился со *своими друзьями* (выделено нами) в кампанию по защите Жореса. Хотя у меня и были раньше некоторые разногласия с П. Якиром, сейчас они отошли на второй план. Мы оба понимали, что освобождение Жореса поможет и всем другим, которые находились в психиатрических больницах не по медицинским, а по политическим показаниям» (стр. 43).

Итак, благодаря тупоумию КГБ, плотина между легальной оппозицией и группами «с чрезмерно радикальными взглядами» прорвалась. Отмежёвываться Медведевы продолжали лишь от таких же «чрезмерно радикальных» русских людей, находящихся в Западной Европе, в частности, от журнала «Грани». Это — их право. Обидно только для самих братьев Медведевых, что они в этом вопросе прибегают к пошлому стилю официальной советской прессы: «провокационный журнал», «провокационное издание» (стр. 25). Жорес Медведев к тому же не договаривает, что напечатание в «Гранях» старого варианта его книги «Биологическая наука и культ личности»* помогло публикации окончательного текста этой работы в издательстве Колумбийского университета.

В книге имеются уточнения о том, как и когда начался весьма существенный процесс более тесного сближения либеральных писателей между собой, технократов между собой и сближения друг с другом этих двух значительных социальных групп. «Александр Трифонович (Твардовский. — А. С.) хорошо знал Жореса и его основные публицистические работы и высоко их оценивал (стр. 40), «...сосед Твардовского по поселку, известный советский писатель В. Ф. Тендряков, несколько лет назад познакомившийся с Жоресом...» (стр. 41); «...я поехал к писателю Ю. В. Трифонову, с которым мы поддерживали в последние годы самые дружеские отношения» (стр. 47).

Повествование Медведевых позволяет также более точно установить момент, когда началось это сплочение рядов писателей с технократами. Это произошло в самом конце хрущевского периода. Академик А. Д. Сахаров «был знаком с Жоресом с 1963 г. и относился с большим вниманием к его научно-публицистическим работам» (стр. 31). «В последние шесть лет Жорес и Солженицын поддерживали между собой постоянные дружеские отношения» (стр. 65).

Французский писатель и журналист Жиль Мартине, принадлежащий к крайнему социалистическому крылу, пишет в своей недавно вышедшей книге «Пять коммунизмов», что для

* См. «Грани» №№ 70 и 71 за 1969 г. — Ред.

БИБЛИОГРАФИЯ

того, чтобы добиться существенных сдвигов в любом тоталитарном государстве, необходим «тройственный союз»: традиционная интеллигенция — технократы — рабочие*. По мнению французского автора, такой «тройственный союз» был осуществлен в 1968 году в Чехословакии, и в этом было всё значение «пражской весны». Позволительно задать себе вопрос: не является ли спайка между технократами и традиционной интеллигенцией в Советском Союзе зачатком такого «тройственного союза»?

У этого зачатка выработалась уже, во всяком случае, своя психология, своя специфическая оценка ценностей. Медведевы это подчеркивают: «Провинциальные чиновники не учли, однако, что может существовать полное несоответствие между общественным положением человека и общественным мнением о нем. Эти чиновники не понимают, что в общественном мнении значительной части советской интеллигенции сложилась совсем иная система ценностей, чем та, которая существует еще в умах работников аппарата» (стр. 38).

Люди, принадлежащие к этому (пока двойственному) союзу традиционных интеллигентов и технократов, далеко не считают себя побитыми, раздавленными аппаратом власти. Медведевы пишут: «Если в обществе существует необходимость и потребность в возникновении того или иного политического течения, то оно и возникает, несмотря ни на какие запреты и репрессии» (стр. 152). «Мнение большинства может быть ошибочным, а мнение меньшинства — правильным. Взгляды, которые сегодня разделяет лишь меньшинство народа, завтра могут стать взглядами подавляющего большинства этого же народа» (стр. 151). Рассчитывая, очевидно, на такие сдвиги, Рой Медведев, не задумываясь, формулирует по адресу всемогущего главврача калужской психобольницы прямую угрозу, сказав ему, что: «Он должен подумать о своем будущем, не исключено, что через несколько лет ему никто не будет подавать руку» (стр. 36).

* „Les cinq communismes“ de Jiles Martinet. Editions „Seuil“, Paris 1971. — A. C.

К сожалению, вся эта до сих пор более или менее легальная оппозиция имеет тенденцию замыкаться в своем кругу. В момент прямой опасности, когда Жорес Медведев попал в психотюрьму на сроки, которые могли оказаться долгими, рогатки в какой-то мере были сняты. Можно опасаться, что теперь они опять аккуратно расставлены. Об этом можно судить по поведению П. Л. Капицы. Когда Рой Медведев к нему обратился с призывом помочь брату, произошло следующее: «В свое время, — сказал П. Л. Капица, — я помог Ландау и некоторым другим физикам выйти из заключения. Так что у меня есть по этой части некоторый опыт» (стр. 41).

К сожалению, когда позднее Владимир Буковский в свою очередь попал в психобольницу, а затем был осужден на долгий срок, Капица этот свой опыт не применил. Промолчали и многие другие из рядов легальной оппозиции. Заступаться за «чужого» Буковского не было надобности, хотя он и стал жертвой своей борьбы именно против тех методов террора, жертвой которых оказался временно Жорес Медведев.

Самую суть повествования братьев Медведевых мы здесь упоминать не будем. Она настолько интересна, что нужно было бы переписать всё. Гораздо проще прочесть книгу, что мы всем и рекомендуем.

Книга «Кто сумасшедший?» — это дуэль легальной интеллигенции с аппаратом насилия власти. Дуэль эта отнюдь не типична. Жорес Медведев — человек привилегированный, пользующийся сильной поддержкой как в самом Советском Союзе, так и на Западе. Отношение к нему в самой психиатрической больнице было поэтому особое. Да и выпущен он был быстро, несмотря на сопротивление катехистов в белых халатах. Так обычно не бывает — при бесчисленных случаях увоза инакомыслящих в психотюрьмы. Читатель, желающий познать, какова в них жизнь, по книге Медведевых ничему не научится. Зато он узнает по зарисовкам, сделанным Медведевыми с натуры, на лету, что думают, как реагируют, как борются видные люди, принадлежащие к легальной оппозиции. В книге они встают перед нами как живые.

БИБЛИОГРАФИЯ

Совсем иное впечатление производит книга «Казнимые сумасшедствием». Это — не яркий и отдельный случай. Это — общая картина нового вида геноцида, замышленного в 1961 году и принявшего теперь страшные размеры. По этой книге можно себе представить, как бесчисленные люди, — вполне здоровые, но не угодные по политическим причинам власти, — живут и медленно умирают в психотюрьмах в перемешку с подлинными сумасшедшими. «Казнимые сумасшедствием» — это живое свидетельство, от которого приходишь в ужас, а также справочник, по которому можно многое познать.

В предисловии составители дают список психобольниц, с их характеристиками и адресами. Не все они известны, и список, вероятно, неполный. Но и из приведенных данных достаточно вырисовывается широкая и страшная картина.

Первый раздел книги озаглавлен «Жертвы». Это, конечно, не все жертвы. Огромное большинство их неизвестно, а если известны были бы все, то пришлось бы писать многотомный труд. Авторы отмечают: «Это не обязательно самые страшные дела, но они позволяют нам уловить тайные замыслы палачей, раскрыть их методы» (стр. 18). Приведено тридцать пять случаев в алфавитном порядке. Бессрочно осужденные без суда, живые мертвецы... Кроме того, под заголовком „Pro Memoria“ приведены те случаи, о которых неизвестно почти ничего, кроме имен. Из приведенных тридцати пяти имен — некоторые весьма известные, на шумевшие: Галансков, Буковский, Горбаневская, тот же Жорес Медведев. Описание этих случаев сопровождается документацией, касающейся их и переданной на Запад. При описании малоизвестных случаев составителям книги пришлось ограничиться несколькими строками, но, увы, достаточно яркими. Вот, например, студент Бополов, осудивший советское вторжение в Чехословакию. Его исключили из комсомола и из института. «Через 3 часа после собрания Бополов бросился в Москва-реку, но был спасен, после чего попал в психиатрическую больницу» (стр. 19).

А сколько таких!.. Некоторые случаи совсем дикие. Ознакомившись с такими, хочется задать вслед за Медведевыми вопрос: кто сумасшедший? Так, например, социологу Вацлаву

Севруку было вынесено следующее медицинское заключение о невменяемости: «мания марксизма и правдоискательства» (стр. 192).

Второй раздел это — «Свидетельства». Например, свидетельство «счастливчика» П. Патрушевича, сумевшего после пребывания в психобольнице благополучно сбежать за границу, не дожидаясь нового визита агентов КГБ. Среди тех, кто сидел с ним в больнице-тюрьме, были и такие, что пытались просить права политического убежища в иностранных посольствах в Москве. О таких, когда их случаи становятся известными, советская печать сообщает: водворен на свое местожительство. Но оказывается, что «свое местожительство» это — камера СПБ*, в которую человек водворяется вместе с буйными сумасшедшими. Свидетельства благополучно достигшего Западной Европы писателя Валерия Тарсиса, доставленное из СССР страшное повествование «Бесплатная медицинская помощь» и «Психэкспертиза» (из книги «Полдень») прошедшей опыт принудительного лечения Натальи Горбаневской дополняются записками генерала Григоренко, тоже дошедшими из России, письмами, рассказом Нарицы «Палата ном. 25», заявлением Владимира Буковского, обращением Виктора Файнберга и др.

Многое из этого было порознь известно читателям, интересующимся положением в России. Но все это, взятое вместе, составляет цельную и страшную картину. Трудно себе представить более исчерпывающий обвинительный акт кагебистам в белых халатах и тем, кто стоит над ними.

Третий раздел «Отклики» тесно связан с предыдущими. Говорится о том же, но на этот раз выступают люди, лично еще не «удостоившиеся» правительственной заботы об их душевном здоровье. Начинаются отклики со знаменитого открытого письма Солженицына «Вот как мы живем». Затем идут отклики, появившиеся в западной печати, повествования о методах психорепрессий из «Хроники», открытое письмо советским пси-

* СПБ — специальные психиатрические больницы, окрепленные насильно в них заключаемыми инакомыслящими «дурдомами». — Р е д.

БИБЛИОГРАФИЯ

хиатрам Т. Великановой и В. Лашковой и т. д. Особо следует отметить повествование Сергея Разумного «Еще об одном преступлении советского режима». Это — подробный бесстрастный анализ того, какого рода лица и по каким причинам попадают обычно в СПБ, как ведется следствие, на кого возложена роль «поставщиков» жертв в психотюрьмы, каково внутреннее устройство этих заведений. После прочтения такого незаменимого справочника все становится ясно. Нельзя не запомнить последней фразы С. Разумного: «Это хуже, чем фашизм, это — коммунизм. Коммунизм в действии».

Аркадий Столыпин

ЛАГЕРНЫЙ РОМАН

Книга Александра Варди — документ совершенно особого порядка. Написавший ее сам побывал в ИТЛ, а всех тех, кто там побывал, мы можем разделить на две категории:

первая — это те, которым повезло;

вторая — это те, которым не повезло;

Те, кому повезло (причин может быть множество, и я не буду на них останавливаться), проскользнули над страшной подлинной сущностью лагерей. Они обыкновенно выходят живыми, но их представление о лагерях сильно ограничено, короче говоря, они не достигали самого дна советского лагерного ада.

Вторая категория — это те, которых засосало много глубже; не говорю, что они достигли самого дна лагерного кошмара, ибо никто не знает и по сей день, на какой глубине это дно. Не знает этого и автор «Подконвойного мира». Автору тоже не повезло и видел он очень много. Еще больше слышал и впитал в себя. Иначе не писал бы этой книги, в которой рассказал очень важное свободному миру, всегда плохо верящему тому, что действительно происходит в Советской России. Пусть не накажет Бог тех, которые не очень верят документам о человеческих

Александр Варди. Подконвойный мир. Издательство «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1971 год.

страданиях тем, что пошлет их самих за проволоку, чтобы и они прошли путем Александра Варди и многих других.

«Подконвойный мир» — это лагерный роман, герои которого — обыкновенные советские люди, попавшие в лагерь. Но описывает их Варди как незаурядных людей, и незаурядность их заключается в том, что они гораздо лучше многих других понимают самую сущность советской власти. Они понимают, например, то, до чего многие даже и в лагерях своим умом не дошли, а именно, что «лагерная империя» при Сталине — это высшая форма всей политической мудрости «гениального вождя» и руководившейся им партии.

Последовательно осуществляемая коммунистическая диктатура, не остановившись на полдороге, и должна была завершиться созданием грандиозной лагерной империи, в которой томятся и гибнут миллионы людей, отправленные туда малыми и «великими» руководителями КПСС, изнывающими от страха перед расплатой за свои беззакония. Это поняли некоторые из лагерных героев автора, и они продолжают бороться. Они стараются не только не погибнуть физически (каждый лагерник старается не погибнуть), но к тому же пытаются сохранить себя морально и духовно; а не погибнуть морально и духовно в советском лагере — это означает и там продолжать бороться с советской властью.

А. Варди показал несколько аспектов такой борьбы:

первый — это сознательное разрушение иллюзий у тех наивных лагерников, которые еще верят в какие-то светлые стороны советской власти. Эти люди принесли с собой веру с воли, они думают, что в лагерь они попали по ошибке и что советская власть по сути своей не порочна (разговор Шестакова с Журиным);

второй аспект — это сопротивление представителям советской власти, пытающимся оседлать лагерников, сделать их стукачами — губителями товарищей, ибо в каждом лагере, сколько их ни есть, советская власть заинтересована в наибольшем количестве стукачей. Представители советской власти идут на всё, лишь бы только расширить сеть доносчиков. У Варди это описывается в разговоре заключенного Шубина со старшим упол-

номоченным первого оперативно-боевого отдела майором Хоружим и с его начальником капитаном. В этом случае спасти может только принципиальная твердость и большая изворотливость. Перехитрить чекистов трудно, но можно, что с большим мастерством и показывает в своей книге А. Варди;

третий аспект — это борьба за самого себя, за свой человеческий духовный облик. Не дать лагерной системе обратить себя в озлобленное, ни во что не верящее существо. Ибо конечная цель советской власти, как и всякой диктатуры, — духовное убийство личности, превращение человека в покорного робота, выполняющего и в физическом, и в духовном плане всё, что от него потребуют, и уже неспособного на самостоятельное творчество.

Из книги А. Варди видно, как советская власть больше всего боится в человеке веры в любые не вмещающиеся в коммунистическое мировоззрение идеалы, не говоря уже о враждебных ему. Таких людей советская власть ссылает в лагеря и с первых же дней лишения свободы начинает подвергать обработке, конечной целью которой должно быть убийство в них Божьей искры, духовного «я», всего того, что роднит человека с Богом, что делает его недоступным материалистической пропаганде коммунизма.

Первое столкновение заключенного с нечеловеческим элементом, в котором сильнее всего выявлен звериный, а не Божественный лик, происходит на этапе: это — блатные. С эпизода столкновения с блатными уже в «черном вороне», во время транспорта из пересыльной тюрьмы на вокзал, и начинается книга Александра Варди. Политических заключенных раздевают сразу же в «черном вороне»; сопротивляться бесполезно, ибо вы один, а против вас стоит организация воров, к тому же подерживаемая низшими звеньями советской тюремной и лагерной администрации. Конвой продажен. Он сам состоит из ничих советских граждан, и это дает блатным возможность чувствовать себя господами. Продажен не только сержант, сопровождающий этап. Продажен и вокзальный эмгешник майор, важный, надутый и пёстрый, как петух. Блатные — это лишь дополнительный фактор террора против заключенных. Но и са-

ми блатные в свою очередь делятся на две категории: на «честных» воров и на «сук».

Об уголовном мире, описанном в книге А. Варди, я хотел бы поговорить более подробно. О лагерях было написано много книг, лагерный и тюремный мир Советского Союза столь многообразен, что почти в каждой книге есть нечто своё особое, ибо никто не может охватить всего этого многообразия. В книге А. Варди особый упор делается на реалистическое описание блатного мира. Автор этих строк сам написал книгу о лагерях и должен отметить, что из всей знакомой ему лагерной литературы описание уголовно-блатного мира у А. Варди самое совершенное. Варди несомненно знает этот мир, с ним сталкивался, от него сам страдал. Еще больше он слышал и запомнил. Блатные говорят подлинно блатным языком, их отношения с политическими описаны в основном совершенно правильно. Нельзя сказать, что каждый заключенный видел и переживал именно то, что описывает автор. Пишущему эти строки не приходилось видеть таких сцен, какие описал А. Варди, например, резню между «суками» и ворами, но вполне можно себе представить, что подобная резня именно так и происходила, как она изображена. Что советская власть действительно играет на ненависти между блатными и политическими, с одной стороны, а с другой, — между «суками» и «честными» ворами, — есть несомненный факт. При всем своем страшном зверином лике многомиллионная армия уголовного мира в некотором отношении, а именно в своем отношении к советской власти, права. Варди утверждает, и мы можем это полностью подтвердить, что из десяти блатных девять не были бы таковыми, если бы не страшные эксперименты, проделываемые властью над людьми, вроде коллективизации, раскулачивания, выявления «врагов народа» и т. д. Не без основания Варди считает блатных косвенными и прямыми жертвами диктатуры. Книга его по существу — книга отношений между политическими и бытовыми заключенными.

Но этим не исчерпывается тематика книги. Весьма интересны дискуссии между американцем Джойсом, представителем классической оптимистической и несомненно наивной демокра-

БИБЛИОГРАФИЯ

тической системы, с русским — Кругляковым, который совершенно правильно указывает своему оппоненту на то, что далеко не всё благополучно и в демократическом мире (мы-то здесь знаем, как он прав) и что, увы, демократия далеко не всегда способна бороться с коммунистической агрессией.

Книга А. Варди — хорошая книга. Будем надеяться, что страшные вещи, описанные в ней, дойдут до сердца и западного благополучного читателя.

В конце книги мы находим ряд документов. Например: содержание статей Уголовного кодекса РСФСР и указов, упомянутых в книге; указ президиума Верховного совета СССР от 4 июня 1947 года, а также «Толкование некоторых слов», то есть объяснение лагерного языка, употребляемого блатными и заключенными, что можно только приветствовать.

Ю. Трегубов

ПАМЯТИ Б. К. ЗАЙЦЕВА

28 января 1972 года, на девяносто первом году своей жизни, скончался известный русский писатель, сотрудник нашего журнала, Борис Константинович Зайцев.

Здесь не место перечислять труды последнего представителя «Серебряного века» русской литературы, приводить биографические подробности, могущие быть почерпнутыми в любом учебнике русской литературы, в любой энциклопедии.

Хочется лишь скромно присоединить голос редакции «Граней» к голосу всех тех, кто тихо, без пафоса и громких слов, простились с большим настоящим русским писателем.

Б. К. Зайцев спокойно, вдумчиво и терпеливо прошел свой длинный художественный путь, невзирая на житейские невзгоды, которые ему пришлось в полной мере испытать, как любому русскому человеку его поколения. Его вклад в сокровищницу русской литературы отличается особой светлой и радостной тональностью, которая не только не могла не привязать к нему сердце читателя, не только не могла не сделать его своим другом, но и укрепляла и утешала его своими тихими откровениями.

В христианской православной вере писатель нашел основной источник своего творчества, в христианстве же он черпал всё то, что создавало исключительную обаятельность его личности — ласковость в обращении, то уважение к человеку, которое каждый ощущал почти физически, и ту особую «открытую» мудрость, которая была в равной мере ценна и дорога прославленному писателю Константину Паустовскому и совсем юному зачинщику очередного парижского эмигрантского литературного начинания.

Потеряв Зайцева, мы потеряли не только большого мастера слова, но и наредкость привлекательного, стройной и цельной жизни человека.

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

Амальрик, Андрей. Нежеланное путешествие в Сибирь. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. New York 1970. PP. 294+8.

Амальрик, Андрей. Статьи и письма 1967 — 1970. Серия «Библиотека Самиздата»: № 2. Фонд имени Герцена, Амстердам 1971. Стр. 100.

Прот. Николай Афанасьев. Церковь Духа Святого. YMCA-PRESS, Paris, 1971. Стр. IX + 332.

Бек, Александр. Новое назначение. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1971. Стр. 234 с портретом автора.

Крейн Бринтон. История современного мира. История западной мысли. The chaping of modern thought. Перевел с английского Виктор Франк. Edizioni Aurora, Roma, 1971. Стр. 467 + VIII + 2 нenum.

Вольное слово. Самиздат. Избранное. Документальная серия. Выпуск I. «Хроника текущих событий, выпуск 21. Меморандум Демократического движения Советского Союза Верховному совету СССР». Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1972. Стр. 125 + 3.

Даниэль, Юлий. Стихи из неволи. Серия «Библиотека Самиздата»: № 3. Фонд имени Герцена, Амстердам 1971. Стр. 94.

Ольга Жигалова. Шалая Кассандра. Роман. Publisher: Victor Kamkin, Inc. Washington. U.S.A. 1971. Стр. 330.

Зорин, С. и Алексеев, Н. Время не ждет. (Ленинградская программа). Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1970. Стр. 47.

Ігор Качуровський. Пісня про білий парус. Інститут Літератури ім. Михайла Ореста. Мюнхен, 1971. Стр. 208.

Г. Померанц. Неопубликованное. Большие и маленькие эссе. Публицистика. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1972. Стр. 335 + I.

Программа Демократического движения Советского Союза. Фонд имени Герцена. Амстердам, ноябрь 1970 (издание второе). Стр. 76.

Роман Редлих. Библиотечка солидариста. Серия философская. Выпуск I — Социальная философия С. Л. Франка, стр. 59. Выпуск 2 — Философия духа Н. А. Бердяева. стр. 71.

Выпуск 3 — С. А. Левицкий — философ-солидарист, стр. 59.
Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1972.

Л. Р ж е в с к и й. Три темы по Достоевскому. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1972. Стр. 156 + I.

И н ь я ц и о С и л о н е. Судьба одного бедного христианина. Перевод с итальянского Ирины Альберти. Edizioni scientifiche Italiane. Napoli, 1968. Стр. 294 + 8.

Федор Степун. Встречи. Товарищество Зарубежных Писателей. Нью-Йорк, 1968. Стр. 202 + 3.

Аркадий и Борис Стругацкие. Улитка на склоне. Сказка о тройке. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1972. Стр. 278.

Лев Шестов. Достоевский и Ницше. YMCA-PRESS, Paris, 1971. Стр. 253 + 3 нenum.

Д. Шуб. Политические деятели России (1850 - 1920 гг.). Сборник статей. Издание «Нового журнала». Нью-Йорк, 1969. Стр. 398 + 2.

Angerer, Walter Andreas. Olimpischer «Ringkrampf» 72. Studie zur Entkrampfung. Verlag R. S. Schulz. Percha am Starnberger See, 1971.

Grote, von, Nicolaus. Stimmen aus dem sowjetischen Untergrund. Verlag A. Fromm. Osnabrück, 1971. SS. 66+3.

Historiska och Litteraturhistoriska studier, 46. Skrifter utgivna av Svenska Litteraturus älskapet i Finland, Nr. 445. Helsingfors 1971. SS. 352.

Prince André Kourakine. De l'aigle impériale à l'étoile rouge. Editions de la Table Ronde. 1970. Paris. Pp. 291.

Panelius, Olav Zilliacus Kurt. Svenska Litteratursälskapet i Finland, Arsberättelse för ar 1970. SS. 30 och 5 photos.

Aleksander Pronin. Byliny. Heroic Tales of Old Russia. Possev-Verlag, Frankfurt/M., 1971. Pp. 128.

Rothberg, Abraham. Aleksandr Solzhenitsyn. The major novels. Cornell University Press LTD. Ithaca, New York 1971. PP. 215+1.

Schwan, Gesine. Leszek Kolakowski — eine marxistische Philosophie der Freiheit. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1971. SS. 262.

СПИСОК КНИГ

Wolfgang Strauss. „Trotz allem — wir werden siegen!“ „Wsjerowno — myj pobedjim!“ J. F. Lehmanns Verlag. München. 1969. Ss. 175 + 5 und 1 Landkarte.

Tarnow, von, Alexander. Demokratie in der Illegalität. «Die CHRONIK» der laufenden Ereignisse — Eine Untergrund-Informationsblatt in der Sowjetunion. Seewald Verlag, Stuttgart 1971. SS. 191.

Yevgeny Zamyatin. Essays. A Soviet heretic. Edited and translated by Mirra Ginsburg. The University of Chicago Press. Ltd., London. U. S. A. 1970. Pp. XX + 322.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

в № 82 журнала

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
123	1 сверху	Восточной Белоруссии	Западной Белоруссии
126	9 сверху	Якутской	Иркутской

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Ответственный секретарь Г. Т. Напиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:

**Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim,
Flurscheideweg 15**

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ «Г Р А Н И Й»

Наша редакция весьма заинтересована в получении отзывов иностранной прессы как о самих «Г р а н я х», так и об отдельных публикуемых в них материалах. Пользоваться услугами специальных бюро, поставляющих вырезки из печати, очень трудно по материальным обстоятельствам. Поэтому мы разрешаем себе обратиться ко всем нашим читателям и подписчикам со следующей просьбой.

При чтении местной иностранной прессы (газет, журналов) делать для нас вырезки, отмечая на каждой вырезке дату и название печатного органа, и пересылать в адрес редакции:

Grani c/o Possev-Verlag,
Sossenheim, 623 Frankfurt/M., Flurscheideweg 15.

Можно делать еще проще, — отчеркивая статьи, посылать газеты или журналы целиком.

Исполнением этой просьбы каждый оказал бы «Г р а н я м» большую услугу.

С лучшими пожеланиями

Редакция журнала «Г р а н и»

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Необходимо повысить тираж нашего журнала. Наш журнал — трибуна для писателей, не могущих печататься в России. Наш журнал знакомит Запад с получаемыми нами из России материалами.

Мы обращаемся к Вам с покорнейшей просьбой — расширить круг подписчиков журнала среди Ваших друзей и знакомых. Мы очень просим присылать редакции адреса тех лиц, к кому мы могли бы обратиться с предложением о подписке на наш журнал.

С искренним приветом

Редакция журнала «Г р а н и»

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране. При этом мы, естественно, не пытаемся заручиться формальным разрешением автора на такие публикации.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**P o s s e v - Verlag,
623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.**

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, в особенности на молодежь, возлагается историей ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «П О С Е В»

Содержание номеров журнала «Г р а н и» помещено:

с № 1 по № 58 в № 59

с № 52 по № 74 в № 74

с № 75 по № 78 в № 78

Новый каталог вышедших номеров высылается бесплатно по требованию.

БИБЛИОТЕЧКА СОЛИДАРИСТА

«Библиотечка солидариста» состоит из коротких брошюр, каждая из которых рассматривает тот или иной вопрос, связанный с мировоззрением солидаризма или с настоящим и будущим России.

Составитель РОМАН РЕДЛИХ

Серия философская

Выпуск 1

Социальная философия С. Л. ФРАНКА

Из содержания: Краткая биография С. Л. Франка · Личность и общество · Основной вопрос философии · Главнейшие произведения С. Л. Франка.

В брошюре 60 стр.

Выпуск 2

Философия духа Н. А. БЕРДЯЕВА

Из содержания: Краткая биография Н. А. Бердяева · Религиозно-философские собрания · Ранний Бердяев · Философия свободного духа · Бердяев и Достоевский · Самопознание · Главнейшие произведения Н. А. Бердяева.

В брошюре 72 стр.

Выпуск 3

С. А. ЛЕВИЦКИЙ — философ-солидарист

Из содержания: Краткая биография С. А. Левицкого · Философия и политика · Солидарность · Свобода · Главнейшие произведения С. А. Левицкого.

В брошюре 60 стр.

Цена каждой брошюры — 3.30 н. м. В США и Канаде 1.10\$.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

в Германии и во всех других странах,
кроме США и Канады:

При подписке непосредственно из издательства — 30,— н. м.

При подписке через представителей
и книжные магазины — 36,— н. м.

Цена в розничной продаже — 9,— н. м.
(или эквивалент 9,— н. м.).

В США и Канаде:

При подписке непосредственно из издательства
— 10,— ам. дол. При подписке через представителей
и книжные магазины — 12,— ам. дол.

Цена в розничной продаже — 3,— ам. дол.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/M.

Из Германии удобнее переводить деньги на
Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.